

Д. Н. Мамин-Сибиряк

# РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ СБОРНИК



государственное издательство-москва 1922.





НЕ ВЫДАЕТСЯ

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

M-222

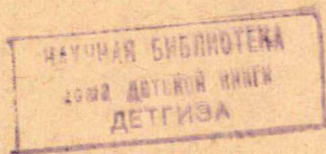
# РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СБОРНИК  
ПЕРВЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Москва 1923 Петроград

О.П.  
M 223 Д.р.

24016



Главлит. Москва № 3152.

7.000 экз.

16-я типография „Мосполиграф“, Трехпрудный, 9.



# Старый воробей.

Рассказ.

I.

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю что! — чирикнул с вербы старый Воробей.—Ну-ка, догадайся, умная голова?.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан!..—смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем.—Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города действительно, был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесен-

ный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережа!—весело говорил отец, вбивая последний гвоздь. — Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя?—спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

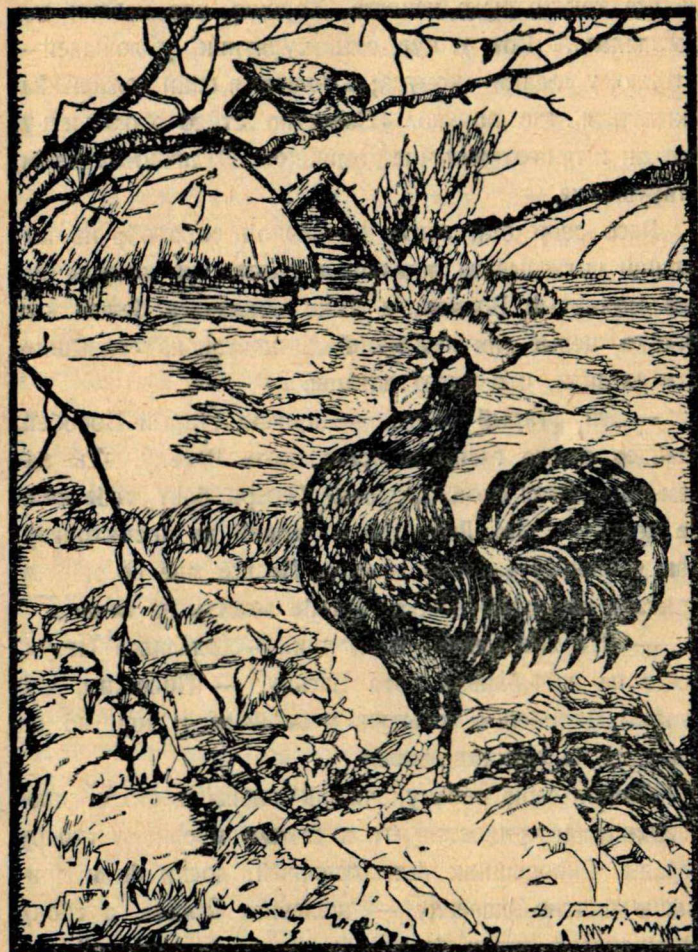
— Ага, скворешник!..—гаркнул петух, прислушавшийся к разговору.—Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый!—засмеялся над ним старый воробей.—Это мне квартиру готовят... да! Эй, старуха, смотри какой нам домик сделали.

Воробыха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит, будет скворешник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят—каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава Богу, зима прошла и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый воробей, страшный забияка, и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые, весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка?—приставал к ней старый Воробей.—Будет нам жить под крышей: и





темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей—стойло, у собаки—конура; а только я один должен был скитаться, где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка.

Весь двор был занят хозяйской работой; из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался белый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут... — кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську.—Ты зачем пожаловал сюда, дармодей? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так...—согласился Петух, тоже не долюбивая кота Ваську. — Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор; но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворешником и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды. Скворешник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крыша, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворешник,



устроена была деревянная полочка, — тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей. — Ведь, есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

А если нас оттуда выгонят?—заметила Воробьяха.— Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся не при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая, это он шутил.

Не успел хозяин отойти от скворешника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично!—думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели.—То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ни откуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь—умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворешника, старый Воробей весело распустил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новое село.

— Ах, разбойник!—обругал его хозяин снизу.— Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережа был ужасно огорчен, что в скворешнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри,—учил его отец.—На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин!—кричал старый Воробей сверху.—Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару.

## II

Старый Воробей расположился в скворешнике по домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники,—решил старый Воробей со свойственным ему великодушием.

— Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробы. — Подарил племянникам какую-то щель... Вот уж посмотрим, как самого погонят из скворешника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый воробей, выдавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах в своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой—чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем, было, попался в бархатные лапки старого плута Васьки и



чуть живой вырвался,—э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть,—рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика.—Я — заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что, действительно, скворешник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы,—что-то тогда будет делать старик, забравшись в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей.—Глупая птица, которая, неизвестно зачем—перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы—никуда прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют...—заметил Волчек, которому порядочно-таки надоело слышать эту воробьиную болтовню.—А ты только умеешь воровать.

— Поют? Это называется петь?—изумился старый Воробей.—Ха-ха... Нет, уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто, действительно, поет, так это я... Да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут...

Скворешник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех, сам наестся и своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз,—прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого, он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из с'естного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его из'ели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворешнике все этот воробей сидит,—жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой; это были пер-



вые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц,—настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись!—шептал старый Воробей своей Воробыхе еще с вечера.—Утром полетят скворцы... им задам, вот увидишь. Я, ведь, никогда не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но о с о б е н н о г о ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки,—эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Они—лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть. Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай воробышек! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворешнике так тепло, да и Воробыха спит сладко-сладко. Чуть-чуть прикурнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворешник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворешник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай!—кричал Скворец, просовывая голову в оконце.—Ну, ну, пошевеливайся поскорее.

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то, ведь, я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?..

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворешнике, схватил Воробьюху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!..—благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь.—Грабят... караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а, в конце-концов, с позором был вытолкнут из скворешника.

### III.

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите.—Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворешник, ну, вытолкали,—только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное,—стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захватаешься, накричишь, наболтаешь,—ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов!—кричал ему со двора Петух.—Я хоть в суп попаду, да у меня еще гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке. Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...



— А ты чему обрадовался?—ругался старый Воробей.—Погоди, я тебе покажу . Я сам бросил скворешник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробыха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и больно клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробыху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем?—жалобно повторяла Воробыха.—У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка.

— А где же воробей, тятя, который жил в скворешнике? Да, вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не любишь?—обратился отец к Воробью и весело засмеялся.—Ну, вперед наука: не забирайся, куда не следует. Не для тебя скворешник строили.

Даже куры, и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь?—гордо спросил он всех.—Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда; а все-таки я умнее вас... А главное-то: я вольная птица. Да... И живу, чем Бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица, Петух,—тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!... И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мной. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червяков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь,—заметил Петух, подмигнув скворцам.—Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов, воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы с'едят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?..—возмутился старый Воробей.—Да я—первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где они, там и я. Да... И притом



я—совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи, и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один—целую жизнь в оглоблях, другой—на цепи, третий в курятнике сидит... Я—вольная птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный к о в а р с т в о м своего друга-человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя,—решил Петух,—Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше—такой веселый и довольный.

— Это я, братцы,—прочиликал он, принимая гордый вид.

— Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичек?

— Слава Богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, ша-лишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он, действительно, устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа,—в ней старый Воробей

и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоится страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьяху высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей летал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя воробьяху. Впрочем, она не долго пережила своих деток! Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал!

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворешнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег, и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно-белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его,—бормотал Петух глубоко-мысленно.—Как-будто и недостает чего-то... Бывало, все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.



# П р и е м ы ш.

(Из рассказов старого охотника).

## I.

24016 15588

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно, когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь—теплый. В городе в такую погоду—грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбацкой сайме<sup>1)</sup> Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы; еще немножко, и покажется го-

<sup>1)</sup> Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.



рячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливишке ютились рыбацьи лодки. Проток между озерами образовался, благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса,—на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «кто идет?» Я люблю таких простых собаченок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой,—это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из Иван-чая, шалфея, и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому, что здесь достаточно было влаги, и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собаченка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумьи, но, видимо еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и, только после этой церемонии, виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся,—а все-таки я должен стеречь избушку.



Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, т.-е. он вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охалка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнувший в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружья на стене, несколько горшков на припечке, сундучек под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатах. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет; я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился, «Еще до француза», как объяснил он, т.-е. до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко

стоявшего сосняка. Вообще, хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончается проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И не даром старый Тарас прожил здесь целые сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное—этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайте!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

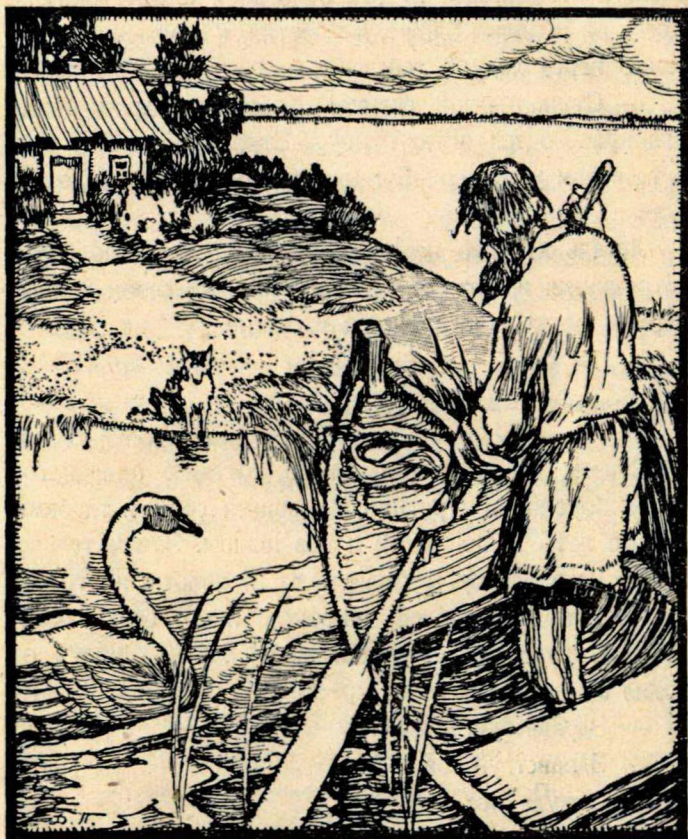
В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

«Куда бы ему деться?—раздумывал я вслух.—Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболю, куда девался твой хозяин?»

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболю принадлежал к типу, так называемых, «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя,—одним



словом, настоящая промысловая собака—лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.



Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбацья

лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом,—настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках однопалубках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу,—Ступай, ступай... Вот я тебе дам уплывать, Бог знает, куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

## II.

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими, большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы, и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборозжено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубаше из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда Бог несет?

— А вот за *Приемышем* плавал, за лебедем... Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро,—нет; по заводям проплыл,—нет; а он за островом плавает.



— Откуда достал-то его, лебедя?

— А Бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидел. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети против камышей, ну, и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в нем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимается, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковывал к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачи.

— Улетит он у тебя, дедушка...—заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собошкой веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидел лебедя и говорит вот так же:—«улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить Божью птицу? Пусть живет, как ей от Господа указано... Человеку указано одно, а птице—другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедя застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком?—спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его—крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько—по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывает, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

Я очень люблю старика. Рассказывал он уж очень хорошо, знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье осталось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболько. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и не даром оно названо Светлым,—вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине нескольких сажен. Видны и



пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли видно, как и рыба ходит «руном», т.-е. стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Крутом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длинной озеро было до двадцати верст, да в ширину около десяти. Глубина достигла в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отделился на самую середину озера и назывался Голоднем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по несколько дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно остался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка?—спросил я, когда мы возвратились с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь-князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на Божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыба плавает в воде, или птица в лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон,

погляди,—лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!...

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры, в конце-концов, сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица,—объяснил он.—Помани его кормом, да не дай,—в другой раз и не пойдет. Свой характер тоже имеет, даром, что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть-чуть, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи,—говорил старик на прощанье.—Тогда рыбу лучить будем с острой. Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул.

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

### III.

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь



был хорош. Кое-где на берегах еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболюк. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома.

Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то к первому снегу прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня всегда так бывает.

Старик, действительно, имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица! А вот мы

опять с Собољком остались одни... Да, не стало приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру,—я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть Божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывает к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу,—мой Приемыш затосковал... Вот, все равно, как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да, ведь, как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Собољко дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону поле-



тят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить,—улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь, ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята,—отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: все дальше, да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уж сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру,—только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет. Не привычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он.—Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая, особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажень на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собољком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его:—«Со-

болько, а где наш Приемьш»? А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилося, что Приемьш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду,—никого нет...

— Вот какое дело вышло, барин.

---



# Серая шейка.

## I.

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей,—вообще, было о чем серьезно подумать.

Серьезная, большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались стайками и переносились с одного берега на другой, по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится!—ворчал старый

селезень, не любивший себя беспокоить.—В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты,—объяснила его жена, старая утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка, вообще, была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась...

— Ты смотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди,—любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось, лебедь или гусь не бросят своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи старуха!.. Ведь, я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь—глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще, мое правило—не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

— Какой ты отец?—накинулась утка на мужа.—Отцы заботятся о детях, а тебе—хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...



Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну,—повторяла Утка со слезами.—Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь, она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее; но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет,—жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда лиса совсем с'ела Серую Шейку, ведь все равно она должна погибнуть зимою.

## II.

Старая Утка, в виду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество.

и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее брат и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь, вы весной вернетесь?—спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробынешь,—успокаивала старая Утка.—Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзнет,—совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно, нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас...—повторяла бедная Серая Шейка.—Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам... Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку от всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой, Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала, не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.



А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели,—береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще, хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Долше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небо журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо»,—думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом—всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участие в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора!—говорили старики-вожаки.—Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбилась из трехсот штук. Слышно было только криканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь,—это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик,—советовала она.—Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети, и нужно лететь вместе с косяком?

— Ну трогай!—громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетающий косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна?—думала Серая Шейка, заливаясь слезами.—Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела»...



### III.

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое и—никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?»—думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты напугала меня, глупая!—проговорил Заяц, немного успокоившись.—Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь, все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!... Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно, когда река покроется льдом. Как раз сцапает...





Они познакомились. Заяц был такой же незащищенный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!... У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмишь и нырнешь в воду,—говорил он.—А я постоянно дрожу со страху... У меня кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзала только самая середина реки, где образовалась шипокая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса,—это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй!—ласково про-

говорила Лиса, останавливаясь на берегу.—Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать,—ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!... А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока—до свиданья.

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка, она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как-будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота — не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса, действительно, пришла через несколько дней, была на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед



был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно, в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, нырай, а я тебя все равно с'ем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем заячьим сердцем.

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! С'ест ее Лиса...

#### IV.

По всей вероятности, Лиса и с'ела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке

леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно не слышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

— Эх, теплая старухе шуба будет, — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья; но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте, Акинтич-то похитрей будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» — А вы сидеть...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут глядь, — Лиса по реке ползет, — так и ползет точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса, действительно, подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду.



Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

— Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде нужна, а без снасти и клопа не убьешь.

Старичок давно прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец, грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду, — и со всех ног кинулся к полынье, по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. — Воротника, как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась... Ну, и хитер зверь...

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну, и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя с'ест! Да...

Старичок подумал — подумал, покачал головой и решил.

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь, да утятку выведешь. Так я говорю? Вот то-то глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

— А старухе я ничего не скажу,—соображал он, направляясь домой.— Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.



## Упрямый козел.

Сказка.

### I.

Жил да поживал на свете веселый столяр. Так его и соседи называли «веселый столяр», потому, что работал он всегда с песнями. Работает и поет.

— Хорошо ему петь, когда у него все есть, — говорили соседи с завистью. — И своя избушка, и коровка, и лошадка, и огород, и куры, и даже козел.

Действительно, у столяра все было: и своя избушка, и лошадка, и коровка, и куры, и старый упрямый козел. Жил он ни бедно, ни богато, а главное — все было свое. Сам столяр говорил:

— Слава Богу, все у меня есть...

Завистливые соседи не хотели видеть одного, — именно что веселый столяр все свое добро нажил сам, своим трудом, постоянно работал, да еще помогала ему жена. Он стругает и пилит свои доски, а жена всякую домашнюю работу справляет: и обед приготовит, и починит, и сошьет, и с огородом управится, и за скотиной присмотрит. Одним словом, жили хорошо, и дом был полной чашей. А где живут хозяева хорошо, там и всем остальным хорошо. Лошадь сытая, корова—

тоже, на крыше избушки ворковали голуби, под крышей весело чиликали воробьи, по двору расхаживал осанистый петух со своими курами; даже жившие под полом мыши и те были сыты. Бывало, жена столяра заворчит:

— И что это мышей у нас сколько развелось? Овес воруют у кур, хлеб тащат...

— Ну, что же, и пусть их тащат! — успокаивал жену столяр. — Где же им взять? У хлеба не без крох... Жалованья они не получают, работать не умеют, а жить надо. У них тоже есть и своя семейшка, и свои детишки, — надо чем-нибудь кормиться. Ничего, нас с тобой не с'едят... Наконец, у нас есть кот Васька.

Кот сидел обыкновенно на печке и делал вид, что ничего не слышит. Он не любил пустых разговоров. Скажите, пожалуйста, с какой стати он будет ловить мышей, когда сыт до-отвала? Иногда он отпраплялся в амбар, ловил какого-нибудь несчастного мышенка, но не ел его, а приносил показать хозяйке.

— Ай-да, Вася, молодец! — хвалила его жена столяра и давала коту молока.

Кот напивался молока и дремал где-нибудь в теплом уголке. Мышей он ловил только для собственного развлечения. Покажется скучно, ну, и сходит на охоту. Вообще, серьезный был кот Васька, и хозяйка очень его любила. Больше всего он гордился тем, что живет в избе вместе с хозяевами, и на двор выходил только погулять. Ни с кем он не ссорился, не дрался и относился к другим свысока. Например, петух и козел вечно ссорились, корили друг друга и даже вступали в драку.



— Разве так можно, господа?—ворчал кот.—Вы совсем не умеете себя держать... Впрочем, что же я говорю с вами: все равно, ничего не поймете!

— Знаем мы тебя, старого плута, — ругался петух. — Только и знаешь, что лежать на солнышке... Скажите, пожалуйста, какой важный барин: лапку боится замочить. Одним словом, дрянь!..

Кот ничего не отвечал, а только презрительно щурил свои зеленые глаза да поводил усами.

Козел и петух часто ссорились. Просто, возьмут и поспорят ни из-за чего.

— Эй, ты, дармоед! — кричал на весь двор забияка-петух. — Не даром говорят, что от козла — ни шерсти, ни молока...

— Тоже, расхвастался, работник! — сердился козел. — Только горло свое петушиное дерешь да никому спать не даешь... Вот и вся твоя работа!

— Я не работник? А кто хозяина по утрам будит? Я!.. А кто за курами смотрит, чтобы не разбежались по чужим дворам? Все я же!.. А кто цыпляток молодых от ястреба стережет? Да опять я же!... Везде я и обо всех должен позаботиться! А ты только даром чужое сено ешь, старый козел...

— Чужое сено ем? Ах ты, разбойник!.. Да я тебя в мелкие крошки, хвастуна, расшибу!

Козел наклонял голову, закрывал глаза и стремглав бросался на петуха...

— Ой, убили! Батюшки, петуха убили!..—неистово орал петух, удирая от расвирепевшего козла. — Караул!.. Живого петуха проклятый козел убил!

Всеж поднимал на ноги горланивший петух. Кудах-тали перепуганные куры, трещали воробьи, лаял дворовый пес Шарик, принимавший горячее участие в драке. Шарик гнался за-раз и за козлом, и за петухом и старался ухватить которого-нибудь зубами. Столяр хохотал до слез, глядя на эту суматоху. Обыкновенно дело кончалось тем, что петух взлетал на забор, хлопал крыльями и орал во все горло:

— Наша взяла, уррра!.. Что взял, проклятый козел? Где тебе драться со мной!.. погоди, вот я тебе еще твои глупые глаза выцарапаю! Да, со мной, брат, шутки плохие!..

Старый упрямый козел обыкновенно чувствовал себя в такие минуты очень скверно. Упрется рогами в забор и старается его повалить... Тоже, ведь, совестно, что петух так срамит на всю улицу. Шарик из усердия лаял, как сумасшедший, и тоже бросался на забор.

— Ах, козел, козел, как тебе не стыдно,—смеялся столяр.—Не хорошо, брат, драться, да еще с птицей...

— Ах, козел, козел, как тебе не стыдно!

— А ежели он хвастается? — угрюмо отвечал козел. — Я вот ему задам.

Подзадоренный козел отходил от забора на средину двора, разбежался и со всего разбега — хлоп! — прямо лбом в забор, — только рога трещат. Это было уже совсем смешно, так что хихикали даже воробьи, прыгая по крыше. Степенно смеялись голуби, качала головой лошадь, а петух хохотал во все горло.

— Ну, еще раз козел!.. Ха, Ха!.. Пожалей забор-то, глупая голова!.. Он не виноват, что ты глуп.





— В самом деле, пожалей забор, — смеялся столяр. — Да и лоб еще самому может пригодиться... Ах, какой ты старый, упрямый козел.

Козел после такой драки долго не мог успокоиться. Он вообще сердился подолгу, рассердится утром и весь день сердится, ляжет спать, — тоже сердится, проснется ночью, — еще немножко посердится. Такой уже сердитый уродился... Раз, чтобы досадить петуху, он, как-будто ненарочно, наступил на его любимую курицу. Вышел целый скандал, и петух побежал жаловаться на козла хозяину.

— Помилуйте, хозяин, этак козел всех моих кур изуродует.

— Ну, это, брат не мое дело, — отвечал столяр. — Пусть вас хозяйка рассудит, как знает...

И жена столяра рассудила: взяла палку и пребольно побила козла.

— Вот тебе, вот тебе, упрямая твоя башка... Не дави кур, не дави кур!..

Козел даже взревел от боли, убежал в огород и еще сильнее рассердился на проклятого петуха. Он долго не хотел итти обратно во двор, пока его не уговорил Шарик.

— Ну, будет тебе сердиться, — уговаривал Шарик, виляя хвостом. — Мы как-нибудь вместе вздуем петуха...

— Да, хорошо тебе говорить, а ведь бока-то мои... ворчал козел, уставившись рогами в землю. — Уж, кажется, я ли не служу хозяину? А что касается сена, так какое сено мне достается? Подбираю с



земли, которое лошадь и корова все равно затопчут. Одно название, что сено... Положим, что я не прихотлив, а все-таки чужого сена не ем.

Шарик был добрая собака и жалел козла. Вот в самом деле, за что прибила его хозяйка?..

— Знаешь, что я тебе скажу, козел,—говорил Шарик:—не стоит сердиться. Ты сделай вид, что будто ничего не заметил. И мне ведь тоже иногда достается от хозяйки... А я терплю. Она только и любит, что своего кота Ваську, корову да кур. Ничего с ней не поделаешь...

— А я ее как-нибудь забодаю... вот и не поделаешь.

— Нет, это уж совсем не годится, козел. Надо терпеть... Мало ли что случается в семье? Не каждое лыко в строку...

В сущности Шарик хитрил. Он больше всего любил, чтобы в доме все было в порядке. Для чего же тогда он, Шарик, если все будут ссориться и драться? Немножко—еще ничего, а только не постоянно.

— Ну, я их помирил,—хвастался Шарик, подходя к хозяйскому крыльцу. — Поссорились, и будет...

— Ты у меня молодец!—хвалил столяр верного пса. — Ежели разобрать, так козел совсем добрый; только немножко упрям. Я ему так и сказал: не сердись, брось! Вообще не стоит...

Столяр любил вечером выйти на двор и посидеть на крылечке. Сядет на лесенку, закурит трубку и смотрит. А Шарик уж тут как тут: облизывается, хвостом виляет, лебезит.

— Ну, что, Шарик?

— А ничего... Все в порядке. День и ночь не сплю, твой дом стерегу.

— Так, так... Молодец! Ведь ты у меня умница...

— А то как же? Какой же порядок в доме, ежели нет хорошей собаки? Это не то, что какой-нибудь дармоед, в роде кота Васьки.

— А, не любишь? Ха, ха, ха! Не забыл, видно, васькиных когтей?

От скуки Шарик иногда гонял жирного кота по двору,—не со злости, а так просто. Хозяйка куда-нибудь уйдет, покажется и кот на крылечке,—ну, как его не гонять, толстомордого? Правда, что Васька отчаянно защищался и два раза пребольно царапнул Шарика, но все-таки он его побаивался. Шарик завидовал Ваське, которого каждый день поили молоком, а ему, Шарiku, доставались одни об'едки...

## II.

Жил-поживал веселый столяр, распевал песни, а черное горе подкралось к нему невидимкой... Захворала жена столяра, пролежала неделю-две, да и отдала душу Богу. Горько плакал бедный столяр, ходил по своей избушке и все повторял:

— Как же я жить-то теперь буду? Ах, как я буду жить?

Пришли соседи, начали его утешать, и все говорили:

— Что ж ты так убиваешься? Все у тебя слава Богу, есть... Ничего, и один как-нибудь проживешь.



— Все есть, а жены нет,—плакал столяр.—Ах, как я жить буду? Как я без жены?

Плачет столяр, разливается, и никто его утешить не может. Похоронил потом жену, засел опять за работу, только уж не стало слышно веселых песен в избушке. Молча работал столяр, а черное горе молча его глодало.

Трудно было жить столяру одному, и взял он себе одну бедную старуху, которая управлялась бы по хозяйству, — самому ему не поспеть везде, а то хоть работу бросай! И пошло все вверх дном... И обед во время не готов, и кушанье не так приготовлено, и скотина сидит голодная, и в огороде ничего не родится.

— Дрянь дело,—ворчал петух, щелкая носом от голода.—Этак, пожалуй, подохнуть можно...

Куры тоже ворчали и начали меньше класть яиц. Голодавшая корова сразу сбавила молока; лошадь похудела, обросла голодной шерстью,—и все роптали. Ничего не говорил один козел, хоть и голодал вместе с другими. Что же тут говорить? Была жива хозяйка в дому, и всем было хорошо; не стало хозяйки,—ну, значит, нужно терпеть.

Соседи, которые раньше завидовали веселому столяру, теперь говорили между собой:

— А мы думали, что он, столяр, умный!.. Огород запустил, скотину заморил, в дому никакого порядка нет... Какой же он умный столяр?..

Самые добрые соседи нарочно приходили к столяру, качали головами, жалели и говорили все это в слух.

— А мы-то думали, что ты — умный.

Столяр и сам видел, что все у него идет из рук вон плохо,—не смотрел бы ни на что. Особенно тошно ему делалось по вечерам... Начал столяр уходить вечерами из дому куда-нибудь в соседи. Все-таки на людях как-будто и повеселее, т.-е. даже и не веселее, а время как-то незаметно проходит. Глядишь, вечера и нет; а тут глядишь, и спать пора... Прежде столяр работал по вечерам, а теперь работа лежала на полке.

— Успею как-нибудь,—утешал он самого себя.— Работа не медведь—в лес не уйдет!

Пошло плохо с работой. С одним заказом не поспел, другой упустил, третьего не дали... Стал думать столяр так: «я-то ведь тот же, а это другие мне нарочно зло делают. Позавидовали моему достатку... Ничего, справимся!» Начал столяр подозревать других, что это они виноваты.

Начал он даже на скотину сердиться. Почему корова молока не дает? Почему лошадь не хочет возить попрежнему? Почему куры перестали класть яйца?

«Да для чего они мне все?—подумал столяр,—проживу и без них, а только хлопоты одни да неприятности»...

Кончилось тем, что столяр вывел лошадь и корову на базар и продал. Жаль было продавать, да нельзя, видно, миновать.

— Да он совсем глупый, столяр-то,—заговорили соседи.—И кто это сказал, что он умный?.. Все хозяйство зорит...

Соседи говорят свое, а столяр думает свое. Раньше было другое, и он был другой, а теперь ему ничего не



нужно. Пусть идет все прахом; сам наживал, сам и проживает.

Без лошади и коровы всем пришлось плохо. Бывало, от лошади и куры покормятся, и мышь стащит малую толику, и козлу достаются об'едки. Тоже с коровой. Петух начал жаловаться громко:

— Житья совсем не стало... А наш хозяин дурак!..

Голуби тоже ворчали: ходят-ходят по двору, и хоть бы одно зернышко где завалилось. Ворчали воробьи:

— Какой же он хозяин, если воробья накормить нечем? Он нас доведет до того, что мы уйдем к другому хозяину... Пусть остается один и живет, как знает.

— И мы тоже уйдем,—пищали мыши.—Недохнуть же нам с голоду?.. Конечно, жаль его одного оставлять, да ничего не поделаешь.

Одним словом, поднялся настоящий бунт. Все были недовольны. Молчал только один упрямый старый козел. Правда, он наполовину наедался в поле, а другую половину добывал по соседям. Иногда ему крепко доставалось за это; часто его били; но козел был терпелив и только удивлялся, как это не поймут, что он хочет есть. Где сенца стащит, где клоч соломы, а где и палки отведаст, за всем не угоняешься...

— Вот озорник!—ругали козла соседи.—В хозяина пошел: такой же забулдыга...

А столяр все видел и слышал и ничего не говорил. Что же поделаешь, пусть уходят все... Было время, были и сыты, и довольны, а теперь голодной мыши

негде поест. Видел столяр, как воробьи разлетались по соседям,—нетерпеливый народ! Видел, как за ними ушли голуби. Последними тронулись мыши. Одна старая мышь даже подошла к окну, покачала головой и сказала на прощанье:

— Ах, не хорошо, хозяин!.. Да, не хорошо... А все ты виноват... Мы думали, что ты умный.

— Уходите, уходите!—говорил столяр.—Ничего я поделать не могу.

— Мы бы, пожалуй, и остались,—говорила мышь,—да не стало житья от проклятого кота Васьки... Раньше-то он не беспокоил нас, а нынче не выходит из амбара. Если бы жива была хозяйка, да была корова, да поили каждый день Ваську молоком... Ах, хозяин, хозяин, вот как нехорошо!..

Кот Васька, действительно, здорово голодал. Сидит-сидит на печке и промывает:

— Молочка бы Васе... ах, молочка!..

— Вот я тебе задам такого молочка, что ты у меня узнаешь!—ругался столяр.—Ишь, неженка! Ступай, лови мышей: твое ремесло...

Похудел Васька с горя, шерсть вылезла, глаза начали слезиться,—одним словом, был хороший кот, а теперь сделался дрянным. Выйдет во двор и мяучит:

— Нет хозяйки, нет молочка...

Приуныл и Шарик и больше не гонялся за котом. Не до того, когда у самого живот подвело с голоду. А хозяин точно не видит ничего... Тоже хорош! Раньше по вечерам в соседи уходил, а теперь начал с утра про-



падать. Домой приходил только ночевать. Раз пришел столяр только утром и совсем пьяный. Присел на крылечко и заплакал.

— Тошно мне!.. скучно...

Пожалел хозяина Шарик, подошел к нему, приласкался.

— Ах, это ты, Шарик!..

Обнял столяр Шарика и еще больше заплакал.

— Тошно мне, Шарик!.. Не стало хозяйки, и ничего не стало. Дом совсем пустой стоит... Ах, не хорошо. А ведь все было, Шарик!.. Дом стоял, как полная чаша.

Что мог сказать Шарик? Он только повилял своим пушистым хвостом, лизнул хозяйскую руку и жалобно взвизгнул.

— Тоска меня с'ела, Шарик... ничего мне не нужно, ничего не жаль... Работа из рук валится.

Подошли к крылечку козел и петух. Козел улегся на ступеньке, а петух встал на одну ногу и слушал.

— А, это вы!..—удивился столяр.—Отчего вы не убежали?

— Вот тоже придумал!—рассердился козел, мотая бородой.—Куда это мы пойдем? Я не согласен...

— Где твои куры?—спрашивает столяр петуха.

— С голоду разбежались по соседям, хозяин,—отвечал петух, переступая на другую ногу.—Что же им было тут делать? Даже мыши,—и те ушли...

— И вы уходите, все уходите, никого мне не

нужно!—говорил столяр, закрывая лицо руками.—Кончено все!..

— Ну, это мы еще посмотрим...—ответил петух.— Ты знаешь, что я шутить не люблю. Куда мы пойдем?—

— Я тоже не согласен...—подтвердил козел.

### III.

Дела у столяра шли хуже и хуже... Он сам видел, что плохо, и ничего не мог поделать. Раньше он уходил из дому по вечерам, а теперь начал пропадать по целым дням. Тяжело было возвращаться в пустой дом. Чтобы не покупать\* дров, столяр сначала сжег амбар, потом конюшню, потом ворота, потом забор кругом двора. Избушка теперь стояла на пустыре.

— Что же, я могу жить под крыльцом,—говорил козел.—Шарик, ты немного потеснишься, а вдвоем нам будет теплее.

Шарик не спорил. Отчего же и не потесниться для друга?.. Петух устроился под крышей и тоже не унывал. Что же, можно жить, если бы хозяин еще давал каждый день хоть одну горсточку овса. Иногда вечером все собирались около крыльца и рассуждали о своих делах.

— Нет ничего лучше молочка,—говорил кот Васька, усаживаясь на крылечке.

— Что молочко, а вот если-бы, например, овес или крупа. Это будет лучше,—спорил петух.

— Пустяки вы говорите,—уверял Шарик:—уж если что, действительно, хорошо, так это косточки...



Сколько я на своем веку с'ел костей, и знаю толк в еде! Да...

— Хорошо и сенца пожевать...—вставил свое слово козел.—Когда лошадь да корова были, так я до отвалу наедался. Бывало, ночью встанешь и ешь... Вы—глупы и не знаете толку в хорошем сене.

Раньше они любили поговорить о своем хозяине и часто его бранили, а теперь нечего было даже говорить. Когда он появлялся домой, каждый старался не попадаться ему на глаза. Приходил столяр обыкновенно сердитый, и лучше было с ним не встречаться. Утром проснется с похмелья,—еще сердитее. Раз чуть не переломал ноги Шарику камнем, так что верный пес озлился и оскалил зубы.

— Да ты, кажется, с ума сошел?—ворчал Шарик, поджав хвост.—Этак можно и совсем убить...

— А ты у меня поговори!.. Ох, не смотрел бы я на вас!.. Без вас тошно...

— Сам виноват... Зачем не работаешь?.. Зачем пьянствуешь?

— Ты меня учить? Да я тебя разорву... Без вас знаю, что делать.

Чтобы доказать свою правду, столяр схватил палку и запустил ею в Шарика. Бедная собака едва успела унести ноги.

— Я вам покажу, какой я человек!—вскричал столяр.—Ну, пью, ну, не работаю и никого знать не хочу.

Он ходил по своему пустырю, бранился и кому-то прозил кулаком. Ведь все были виноваты, а он прав. И он, столяр, умнее всех.

В другой раз, проснувшись утром с больной головой, столяр услышал, как петух пропел свое «куку-реку». Это показалось столяру обидным: у него голова трещит, а петух горло дерет, как сумасшедший... И для чего, подумает, надрывается глупая птица? Потом у столяра мелькнула в голове счастливая мысль. Он разыскал сухую корочку, разломал ее в крошки и вышел на крыльцо. Петух ходил по пустырю.

— Здравствуй, хозяин! Кррр...

— Здравствуй, Петя! Хочешь хлеба поклевать?.. Да ну же, иди сюда.

Петух сделал голову на бок, посмотрел на брошенные крошки, посмотрел на хозяина и ответил:

— Эге, ты за кого это меня считаешь, хозяин? Я еще не настолько глуп, чтобы за несколько крошек пасть тебе на жаркое... Шалишь, брат!..

— Да ты иди, Петька... Ну, ну, иди же,—говорят тебе! Потолкуем...

— А ты меня с'ешь?

— Не с'ем...

— Нет, с'ешь.

— Ну, если ты не хочешь итти, так я к тебе сам подойду...

Столяр рассердился на глупого петуха и, схватив камень, бросился за ним. Петух страшно перепугался, распустил крылья и заорал благим матом:

— Ой, батюшки, убили... живого петуха убили. Караул... Батюшки, батюшки...

Долго гонялся столяр за петухом, бросал в него



камнями и ничего не мог поделывать. Живое жаркое увертывалось у него из-под носу самым обидным образом...

Петух спасся только тем, что бегал кругом избушки и ловко скрывался. И козел, и Шарик видели все это, но не гнались за петухом, как бывало раньше при домашних ссорах. Теперь было другое. Наконец, столяр выбился из сил, присел на крылечко и, схватившись руками за голову, горько заплакал. Обиженный до глубины души, петух отошел и ждал, что будет дальше.

— Если бы у меня была конюшня, я загнал бы петуха в нее, и там-то уж он не ушел бы от меня,—плакался столяр, качая головой.—Ах, я, несчастный!.. Петух, и тот не слушается меня.

— А ты попробуй с'есть Шарика,—крикнул петух издали, оправдывая смявшиеся перья.—Тож, придумал... Ведь всего и птицы осталось, что я один. Вот воробьи и голуби давно разлетелись по соседям, а я остался. Жаль мне тебя, хозяин... Старого добра не помнишь. Видно, забыл, сколько лет я тебе служил верой и правдой.

Козел стоял посреди пустыря, уставившись глазами в землю и молча сердился на хозяина. Давно ли попрекал его за драки с петухом, а сам-то что делает? Тоже хорош, нечего сказать...

«Вот сиди теперь один,—думал козел.—А я не подойду... Ни за что не подойду!.. Сегодня последнего петуха с'ел бы, а завтра... И думать противно».

Пожалел хозяина только один Шарик. Верный пес не помнил зла. Он обошел крыльцо кругом, остановился перед хозяином и ласково вильнул хвостом.

— Будет тебе плакать, хозяин... Не хорошо.

— Кто это говорит? Ах, это ты, Шарик...

Шарик прыгнул к хозяину и припал головой к нему на колени. Столяр взял его за шею и обнял... А у самого слезы так и капают на умную собачью морду.

— Ах, Шарик, Шарик... Один ты у меня друг остался. Да, один... Помнишь, как мы поживали да добро наживали?

— Отлично помню, хозяин... Все у нас было. Одних костей сколько мне доставалось.. А теперь забыл, чем кости пахнут.

— У тебя кости на уме, Шарик, а у меня вся душа изболела... Я сам себя начинаю ненавидеть. И лентяй, и пьяница... Добрые люди от меня начинают сторониться. Не такой ведь я был раньше-то... Тоска меня заела.

Жаль стало Шарик у хозяина, и он только слабо взвизгивал, помахивая своим пушистым хвостом.

— Скучно мне, тошно...—повторял столяр, обнимая собаку.—Точно все у меня порвалось внутри, и сам я чужой себе.

#### IV.

Плохо жил столяр, и чем дальше, тем хуже. Хотел даже последнюю свою избушку продать и как-то вечером привел покупателя. Ходят вдвоем, осматривают избушку, покупатель в стену постукивает,—не сгнили ли бревна.

— Да уж отличная избушка,—уверял столяр.—Не на продажу строилась.



Покупатель не верил чужим словам, а только своим глазам. Осмотрев избу, он полез под крыльцо: нет ли, мол, там какого из'яна... А под крыльцом лежал козел... Когда увидел он чужого человека, поднялся и сейчас его на рога,—так ударил, что чуть глаза не вышиб.

— Это у тебя что за генерал такой лежит?—ругался покупатель, вылезая из-под крыльца.—Чуть не убил до смерти, проклятый...

Столяр рассердился и принялся гнать козла. Но это было не так-то легко сделать: уперся козел, и делу конёц! Не пустил под крыльцо даже хозяина.

— Не глядевши, я не могу покупать,—заявил покупатель.

— Да ведь что же я поделаю с ним, с упрямым чортом.

— Дело твое...

Слово за слово, столяр и покупатель заспорили, разгорячились и чуть не подрались. На шум сбежались соседи и едва их розняли.

— Ты сам козел,—ругал столяра покупатель.—Вам вместе под крыльцом жить надо...

Так продажа и не состоялась, а столяр окончательно рассердился на старого упрямого козла. В самом деле, что он живет зря, т.-е. козел? Петуха хоть зажарить можно. Шарик дом стережет, кот Васька мышей ловит, а этот уж совсем ни к чему.

Чем больше думал столяр, тем больше убеждался, что козел совершенно ему не нужен и даже, как-будто, мешает. Разве нельзя прожить без козла? А потом сто-

ляр все сильнее сердился на него, потому что козел помешал продать избушку.

— Этакая проклятая тварь навязалась!—бранился столяр, припоминая свою ссору с покупателем.—Он и меня на рога чуть не поддел... Погоди, брат, я тебе удружу! Будешь меня помнить, упрямая скотина...

Сказано,—сделано. Поймал столяр козла за рога, накинул на шею веревку и повел продавать. Как ни упирался козел, как ни брыкался, а ничего не мог поделывать, особенно, когда столяру начали помогать соседи: кто хворостиной, кто палкой погоняет сзади. У соседей были старые счеты с козлом: кого лягнул, кого боднул, у кого сена клок стащил, у кого капусту в огороде с'ел. Все рады, что избавятся, наконец, от козла. Туда ему и дорога...

— Тащи его!—кричали соседки, подстегивая упиравшегося козла.—Не даром говорится, что от козла—ни шерсти, ни молока... Да и нам спокойнее. В прошлом году тетке Матрене два зуба вышиб.

Никто не прибавил, что тетка Матрена три раза обливала козла кипятком. Впрочем, козел уже давно привык к несправедливости и не обращал внимания на неблагодарных соседей. Гонят его, а сами не понимают, что бывают козлы гораздо хуже. Да, совсем скверные козлы.

Вывел столяр козла на рынок и простоял целый день. Никому не нужно козла... Еще обиднее сделалось столяру: какая же это скотина, которой никому даром не нужно? В сердцах столяр несколько раз пребольно пнул ногой козла прямо в бок.



— Из-за тебя только целый день потерял...

— А я с тобой и разговаривать не желаю!

— Хорошо, погоди, я тебе и не так удружу...

Когда все покупатели разошлись с рынка, столяр повел козла к знакомому купцу. Привел на двор и давай расхваливать.

— Благодарить будете, ваше степенство, потому что это не козел, а клад. Уж сколько он умен и догадлив... Ну-ка, Вася, тряхни бородой! Уж другого такого козла днем с огнем не сыскать.

— Нахваливай пуще...—ворчал козел, мотая бородой,—только, смотри, не подавись от вранья...

— И смысленный какой... — нахваливал столяр,—его и кормить совсем не надо; сам себе пропитанье добудет.

— Ну, это ты уж совсем напрасно,—рассердился козел.—Хоть один раз закусить хорошенько... Давненько я не едал по-настоящему.

Понравился упрямый козел купцу. Как раз ему вот такого и нужно. Да и ребятишкам забава... Ударили по рукам, и столяр получил за козла целых три рубля. Давно у него не было в руках таких денег, и с радости столяр напился пьян.

Просыпается утром на другой день, а кот Васька с печки ему мяукает:

— Дяденька, а козел-то опять у нас. Прибежал с веревкой на шее...

— Ну, это его дело, а я его больше не знаю...

Пришел от купца дворник с кучером и вытащили

козла за рога, зацепили веревкой и потащили к новому хозяину, только бока трещат.

— Чего ты упираешься-то,—удивлялся столяр. — Там, по крайней мере, сыт будешь...

— Ну, это дело мое,—ответил сердито козел.—В гостях хорошо, а дома еще лучше того...

Прошло два дня, и козел опять вернулся домой. Пришли за ним два дворника и два кучера и принялись бить. Даже столяру сделалось жаль упрямую скотину.

— Ну, перестань, не упрямясь, — уговаривал он козла.

Посмотрел на него козел исподлобья, нахмурился и проговорил всего одно слово:

— Эх, ты, бесстыдник!..

Задумался столяр. Мудреный козел: не хочет жить у купца, где сладко поят и кормят, а рвется домой, в избушку, где хоть шаром покати, голодной мыши нечем накормить. Потом сделалось столяру совсем известно... А козел опять пришел. Идет по улице и прихрамывает. Даже соседи, и те пожалели:—«Ах, бедный козлик!» Забился козел под свое крыльцо и лежит—туча-тучей. Добыл столяр немного хлеба и снес козлу.

— На вот, покушай, упрямая башка...

Козел даже не шевельнулся. И на хлеб не смотрит... Еще совестнее сделалось столяру. Ведь вот скотина, бессловесная тварь, а своего угла ни за что не желает менять. И кот Васька тоже, и петух, и Шарик... Отправился столяр к купцу и говорит:

— Ваше степенство, как же мы относительно козлика? Он опять прибежал ко мне...



— Ты меня обманул,—говорит купец:—продавал козла за умного, а он хуже чорта. Вон кучера да дворники совсем замаялись с ним. Все руки, говорят, окотили о проклятого козла. Совсем глупый козел...

— Нет, ваше степенство, совсем даже не глупый он. Да... Поумнее будет дурака-то хозяина, потому как он свой дом знает. Уступите его мне обратно, а деньги я вам отработаю.

— Да бери хоть даром. Все равно, не будет у меня жить.

— Нет уж, зачем даром. Это не хорошо...

Вернулся столяр домой такой веселый. Давно его таким не видали. Помолился Богу и принялся за свою работу. Опять засвистела пила, и полетели стружки... Опять соседи услышали, как поет столяр, работает и поет.

— Ну, теперь все у нас пойдет хорошо,—говорит Шарик:—хозяин поет, значит беда прошла...

Вылез из-под крыльца козел, посмотрел кругом, мотнул бородой и сказал:

— Кабы не я, все бы вы пропали тут...

---

Через год около избушки появились и новый забор, и новые ворота, и новый сарай. Прилетели голуби, зачиликали воробьи, вернулась старая мышь со всем семейством.

— Это он для нас, для мышей, выстроил,—уверяла мышь, осматривая сараи.—Ничего, как-нибудь поместимся... Ведь я ему говорила тогда, что не проживет он без нас.

## Медведко.

Р а с с к а з.

— Барин, хотите вы взять медвежонка?—предлагал мне мой кучер Андрей.

— А где он?

— Да у соседей... Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трех... Забавный зверь, одним словом.

— Зачем же соседи отдают, если он славный?

— Кто их знает... Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливает...

Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать.

Сказано,—сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который, действительно, был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее тарасила такие милые, синие глазенки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятшек, так что пришлось затворить ворота. Попад в



комнаты, медвежонок ни мало не смутился, а, напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке.

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все, как должное, и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью.

— Медведко, хочешь молока?

— Медведко, вот сухарики...

— Медведко!..

Пока происходила вся эта суетня, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинулась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками. Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, — эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в уголок и смотрел на нее, как ни в чем не бывало. Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку-медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака смотрела на меня, точно спрашивала согласия, и подвигалась вперед мед-

лёнными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина; но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага. Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала.

— Вот так молодец, Медведко!—одобрили гимназисты,—такой маленький, и ничего не боится...

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.

Медвежонок преспокойно с'ел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котенок.

— Ах, какой он милый!—повторяли гимназисты в один голос.—Мы его оставим у нас жить... Он такой маленький и ничего не может сделать.

— Что ж, пусть его поживет,—согласился я, любуясь притихшим зверьком.

Да и как было не любоваться... Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал своим черным языком мои руки, и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок.



Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику—как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, все желал видеть и везде



лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами. Меня поражали необыкновенная подвижность этого маленького увальня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул. Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса—тоже... Наконец, мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, при чем медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня начала

мне надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем я скоро уснул, позабыв о маленьком госте. Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом все сделалось ясно: медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней.

— Ну, и зверина,—удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших.

— Куда его мы теперь денем?—думал я вслух.— Он никому не даст спать целую ночь...

— А к емнастам, — посоветовал Андрей. — Они его весьма даже уважают.. Ну, и пусть спит опять у них.

Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту.

Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился. Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часу, как все повскакало от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное... Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все об'яснилось. Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил-тащил, пока не стащил всю клеенку, вместе с ней—лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе. В результате—разбитая лампа, разбитый гра-





фин, разлитые по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол, откуда сверкали только одни глаза, как два уголька. Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел уку-  
сать одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником?—  
взмолился я.—Это все ты, Андрей, виноват...

— Что же я барин, сделал?—оправдывался кучер.—  
Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И  
емназисты даже весьма его одобряли...

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь...

Следующий день принес новые испытания. Дело  
было летнее, двери оставались незапертыми, и он неза-  
метно прокрался во двор, где ужасно напугал корову.  
Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и за-  
давил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала  
кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на ку-  
чера, и дело дошло чуть не до драки.

На следующую ночь, во избежание недоразумений,  
беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не  
было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодова-  
ние кухарки, когда на следующее утро она нашла мед-  
вежонка в ларе: он отворил тяжелую крышку и спал  
самым мирным образом прямо в муке. Огорченная ку-  
харка даже расплакалась и стала требовать расчета.

— Житья нет от поганого зверя,—об'ясняла она.—  
Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запи-  
рать... муку бросить... Нет, пожалуйста, барин, расчет.

\*\*\*



Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который его взял.

— Помилуйте, какой милый зверь,—восхищался он. Дети будут рады... Для них это настоящий праздник. Право, какой милый...

— Да, милый...—согласился я.

Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого милого зверя, и когда весь дом пришел в прежний порядок.. Но наше счастье продолжалось не долго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой день. Милый зверь накуралесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложженный молодой лошастью, зарычал... Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой кучер, но там отказались принять его наотрез.

— Что же мы с ним будем делать?—взмолился я, обращаясь к кучеру.—Я готов заплатить, только бы избавиться...

На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием.

О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он околел месяца через два.

## Емеля-охотник.

### I.

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши, спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов,—собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые, точно нарочно, обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора, с седой, мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна—на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам со-



всем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными тущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики—записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью—белку; весной—диких коз; летом—всякую птицу. Одним словом, крутлый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого лесу, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем выросла в землю, глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая—ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воеет по ночам голодный Лыско—одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а, дедко!..—с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером.—Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук,—ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?..

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внученок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню,—больному не сделалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь, чего захотел: теленочка...—думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть.—Ужо надо добыть».

Емеле было лет семьдесят; седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.



Пора старику и на покой, на теплую печку, да заменить нечем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избу. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внука, тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

## II.

Стояли последние дни июля месяца,—самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался,—говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня...—говорил

Емеля внуку на прощанье.—За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького.

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как-будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчиком,—все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был, как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нем с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы,—все знал старик на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было крутом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по



сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи...—говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимаются высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папортника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой, или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет-ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не об'едена

ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветки. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий, десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеетдохнуть в ожидании выстрела; он слышит, олень чувствует его запах.. Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросил хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет,—рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью.—Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.



### III.

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького телянка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на высоте горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком,—думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт.—Сегодня утром был здесь... Лыско, ищи, голубчик!...»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внука: «Дедко, добудь телянка... И непре-

менно, чтобы был желтенький». Вот и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь»...—думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит»,—думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз с своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка,—шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь, все равно, она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином и, когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтый теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был пре-





хорошенький олененок, всего несколько недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взял курок винтовки и прицелился в голову маленькому беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным, предсмертным криком: но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким героизмом защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью... Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул,—маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь, какой бегун...—говорил старик, задумчиво улыбаясь.—Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то! Ну, ему, бегуну еще надо подрасти... Ах, ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко; принес теленка?—встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?



— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистнул, а он, теленок-то, как стреканет в чашу,—только его и видели.. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня, и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес. Гришук,—прибавил Емеля, кончив рассказ.—Этого, все равно, волки бы с'ели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, теленок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу с своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

## Дурной товарищ.

Рассказ.

### I.

История разыгралась прескверная и совершенно неожиданная. Кажется, ни один человек в мире не мог бы ее предвидеть, тем более, что осеннее утро выдалось такое чудное, светлое, с крепким морозцем... Но я забегаю вперед.

Когда меня отдавали в школу, тетушка Марья Ильинична считала долгом повторить несколько раз с особенным ударением:

— Коля, главное, бойся дурных товарищей!..

Мой отец, скромный, вечно занятый человек, счел необходимым подтвердить то же самое.

— Да, товарищи—это главное... И поговорка такая есть: скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Да, нужно быть осторожным...

Нужно сказать, что я рос порядочным баловнем, вероятно, потому, что рано лишился матери и в глазах доброй тетушки являлся сиротой. Милая, добрая старушка напрасно старалась быть строгой, и даже выходило смешно, когда она начинала сердиться и придумы-



вать грозные слова. Когда истощался весь запас строгости, тетушка прибегала к последнему средству и говорила самым зловещим тоном:

— Вот, погоди, придет папа со службы, тогда узнаешь... Да, узнаешь!

Отец никогда меня не наказывал и в крайнем случае, когда был особенно недоволен моим поведением, запирался у себя в кабинете. Это было самым сильным средством для моего исправления, и я серьезно мучился, пока буря не проходила.

Итак, стояло чудное осеннее утро. Я с намерением вышел из дому пораньше, как и другие товарищи, с которыми вместе ходил в школу. Первая новость, которую я узнал на улице, была та, что река встала, т.-е. покрылась льдом. Это известие всех школьников страшно взволновало, тем более, что наша дорога в школу проходила мимо реки, т.-е. не то, чтобы совсем мимо, а приходилось сделать большой крюк, ну, как не посмотреть на первый лед,—это было выше наших сил. Дорога сокращалась еще тем, что мы побежали к реке бегом. Действительность превзошла все наши ожидания. Река не только встала, но была покрыта таким блестящим льдом, точно зеркалом.

— Ах, какой лед!..—крикнули мы все разом.

К реке бежали мальчишки из других улиц, как на праздник. Были тут и гимназисты, и реалисты, и ученики городских школ, и просто безыменная детвора, высypавшая из подвалов и чердаков. Два мальчика из соседней булочной прибежали в одних рубашках, в опорках на босу ногу и без шапок. Подняли общий ра-

достный крик, и по льду с звенящим гулом полетели палки и камни. Нет больше удовольствия, как запустить палку по такому молодому льду, который гудит, как тонкое стекло.

— А, ведь, лед толстый,—заявил Паша Селиванов, краснощекий мальчуган из нашего класса.—Ей-богу, толстый.

Для проверки было брошено несколько кирпичей, и лед не проломился. Это было великолепно, и мы прыгали на берегу, как дикари.

— Если лед держит кирпичи, то, значит, можно по нему ходить,—проговорил Костя Рябов, тоже наш товарищ.

— Ах, если бы были коньки...—пожалел кто-то.

— Можно попробовать пройти по льду и без коньков,—продолжал третий.

— А в самом деле, если попробовать...

Точно в ответ на этот вопрос, с противоположной стороны, на лед выскочил мальчуган в красной рубахе. Смелчак лихо прокатился, стоя на ногах, и вызвал общее одобрение. Пример получился заразительный. За первым смелчаком явился, конечно, и второй, и третий.

— Да, им хорошо там кататься,—с завистью говорил Паша Селиванов.—Там берег мелкий. Если и провалятся, так не утонут...

Это говорило благоразумие. Действительно, наш берег шел обрывом, и река была глубокая. Но явилась счастливая мысль пройти по льду у самого-самого берега. Эта была общая мысль, трогательная по своей про-



стоте и разумности. Костя Рябов сейчас же и привел в исполнение. Лед выдержал...

— Да он совсем толстый лед...

Мы принялись бегать по закрайку самого берега, и все выходило отлично, несмотря на то, что кое-где лед ломался, и выступала вода.

— Это тонкий лед только у самого берега, а по середине реки он совсем толстый,—сообразил кто-то.— Это всегда так бывает...

Кому первому пришла в голову счастливая мысль проверить это предложение на опыте, трудно сказать. Впоследствии выходило как-то так, что никто не выходил на лед первым, а дело началось прямо со второго номера. Я, конечно, был виноват, решительно, меньше всех, вернее, совсем не виноват, а даже отговаривал товарищей, хотя они, по свойственному им коварству, совершенно не слышали голоса благоразумия.

Когда мы были уже на середине реки, на противоположном берегу раздался общий отчаянный крик:

— Полиция!!

Действительно, по берегу торопливо бежали два городских и что-то кричали. Катавшаяся по льду детвора бросилась врассыпную на берег, как воробьи. Мы забрались слишком далеко, чтобы убежать сейчас же, да и лед был такой скользкий. Кто-то из нас упал, на него упал другой, и лед не выдержал нашей тяжести. Сначала он зловеще треснул, а потом начал опускаться, и мы, все трое, как-то сразу очутились по горло в воде. Как мы кричали, было слышно чуть ли не за версту. По берегу бегали два городских. Откуда-то появились

доски и веревки. Кто-то ужасно кричал, и со всех сторон бежали люди—мужики, женщины, дети.



— Тонут!!! Караул!..

Все случилось так быстро, что трудно было что-ни-



будь сообразить. От страха мы даже не чувствовали, как холодна вода, и напрасно цеплялись руками за тонкий лед, который сейчас же ломался, как сухарь. Вместе с нами плавали в воде наши шапки, так что с берега казалось, что тонет целых десять человек.

Мы уже выбивались из сил, когда по льду, держа веревку в зубах, подполз какой-то подмастерье. Он вперед себя толкал длинную доску, за которую мы и ухватились окоченевшими руками. Как нас вытащили, я плохо помню. Какой-то человек поставил меня на ноги, встряхнул и проговорил всего одно слово:

— Хорош!..

## II.

Можно себе представить весь ужас моей тетушки, когда меня привели к ней, всего мокрого и без шапки. Бравый городской, сделав под козырек, отпраповтовал:

— Они изволили тонуть, а мы их вытащили.

Городской получил на чай, а меня потащили в мою комнату, раздели, и тетушка сама принялась растирать меня водкой и скипидаром. Потом явились на сцену липовый чай, малина и мята. Через полчаса я уже лежал в своей постели. Странно, что настоящий испуг я испытал только теперь, когда лежал на своей собственной кровати.

Первое, что могла сказать милая тетушка, была обычная фраза:

— Вот что значит, Коля, иметь дело с дурными товарищами...

Старушка только сейчас сообразила, как велика

была опасность, которой я подвергался, и горько рас-плакалась.

— Я тебе всегда говорила, Коля, что твои приятели Паша Селиванов и Костя Рябов не доведут тебя до добра...

Я заступался за своих товарищей, как умел, но это нисколько не убедило тетюшку. Она еще больше рассердилась и даже погрозила кулаком.

— Только бы попали мне в руки... О, я знаю, что это они затащили тебя на лед! А вдруг бы ты утонул? Что бы я сказала папе, когда он вернется домой со службы? Ведь, он обвинил бы во всем меня, почему я не досмотрела. А что я могу сделать с этими сорванцами?!. Господи, вот наказание-то.

Последняя мысль убивала меня не меньше, чем тетюшку, и я даже закрывал глаза от страха, представляя себе возвращение отца со службы. В самом деле, что я могу сказать ему в свое оправдание? Решительно ничего... Конечно, немного утешала мысль, что и моим товарищам по несчастью не лучше, чем мне, если не хуже. Если бы мой отец закричал на меня, начал браниться или как-нибудь меня наказал, все было бы, кажется, легче, а то выслушает рассказ тетюшки, повернется и уйдет к себе в кабинет. Хуже этого я ничего себе представить не могу, потому что очень любил отца, а, с другой стороны, чувствовал себя бесконечно виноватым.

— Тетя, я больше не буду...—по-детски оправдывался я, чтобы сказать что-нибудь.—Только позвольте мне встать и одеться.



— Э, нет, голубчик!.. Умеешь тонуть, так лежи в постели, пока не придет отец. Пусть он делает с тобой, что хочет.

Это было для меня наказанием.

Отец возвращался со службы в 5 часов, и я с тоской ждал, когда в передней раздастся звонок. Время точно остановилось. Но вот и звонок. У меня замерло сердце. Тетушка встретила отца в передней, и я слышал, как она ему рассказывала целую историю о дурных товарищах, которые меня силой затащили на лед и чуть-чуть не утопили.

— Я всегда это говорила,—повторяла она—Коля очень доверчив. Он еще совсем ребенок.

Отец не ответил ни слова и прямо из передней прошел в мою комнату. Я со страха закрыл глаза и боялся шевельнуться. Отец сел на мою кровать, пощупал мою голову и ласково спросил:

— Тебя не знобит?

— Нет, папа...

Ласковость отца растрогала меня больше всего, и я расплакался самым глупым образом. Тетушка, выгораживая меня, продолжала сочинять историю о дурных товарищах, при чем выходило как-то так, что Костя Рябов и Паша Селиванов с намерением затащили меня на лед, и точно нарочно, хотели меня утопить.

— Я всегда говорила Коле: бойся дурных товарищей. Вот по-моему и вышло... Если бы он не встретил их сегодня утром на улице, если бы они не затащили его силой на реку...

— Да, дурные товарищи—вещь опасная,—соглашался отец и потом прибавил:—а вот я сейчас покажу Коле того дурного товарища, которого нужно опасаться больше всего...

Отец ушел в свою спальню и вернулся с маленьким зеркалом, перед которым брился.

— Ну, вот смотри портрет самого дурного товарища,—говорил он, подставляя зеркало к самому лицу.—Его нужно бояться больше всего, особенно, если не хватает характера удержаться от чего-нибудь. Понял?

— Да, папа...—согласился я, рассматривая свое собственное лицо в зеркале.

---



# В ученьи.

Р а с с к а з.

## I.

Наступал уже дождливый осенний вечер, когда Сережка с матерью подходил в первый раз к фабрике. От вокзала за Невскую заставу они шли пешком. Мать едва тащилась, потому что страдала одышкой. Кроме того, ее давила дорожная котомка, сделанная из простого мешка. На улице уже зажигались фонари, мимо несколько раз пронеслась «паровая конка», пуская клубы дыма; фабрики смотрели на улицу сотнями ярко-освещенных окон... Это было фабричное предместье Петербурга, вытянувшееся вверх по Неве на десять верст.

Мать останавливалась перед каждой фабрикой и спрашивала, не та ли это фабрика, на которой работает дядя Василий? Ответы получались разные, а один пьяненький мастеровой об'яснил:

— Дядя Василий? Как же, очень хорошо знаю... Недавно вместе три недели в остроге сидели. Теплый мужик, зимой даже без шубы щеголяет...

Сережке делалось страшно, и он жался к матери.

Его пугали эти большие дома, гремевшая конка, торопливо бежавшие куда-то люди, валивший густыми клубами дым из высоких фабричных труб и, вообще, все, что попадалось на глаза. Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас так тихо-тихо, и только кой-где мелькают красные огоньки. Сердце Сережки сжималось как-то само собой, и ему почему-то казалось, что попадавшиеся навстречу люди непременно злые.

— Мамка, скоро?—шопотом спрашивал он.

— Скоро, скоро... Погоди.

Наконец, они дошли и до той фабрики, на которой работал дядя Василий. Стоявший у ворот сторож сказал, что надо будет подождать, когда отдадут свисток на шабаш. Он как-то особенно любовно посмотрел на Сережку и заговорил:

— В учёбу привела мальчонку?

— Уж не знаю, как дело выйдет...—уныло ответила мать.—Отец-то у нас помер после Успения, так вот... я...

У нея точно перехватило горло. От усталости и ожидания она расплакалась.

— Значит, деревенские,—решил сторож.—О чем ревешь-то, глупая? И здесь люди живут...

— Девчонка у меня махонькая осталась в деревне-то... Значит, у свекровушки сейчас. Ох, горе наше горькое... Только стали поправляться, избу новую поставили, а тут немочь и присунься... Всего две недельки и пролежал Тихон-то Петрович... Долги остались... Новая изба за пол цены ушла, да еще лошадь продали. Как есть, не при чем и остались...



Сережка слышал эти причитанья матери слишком часто и потому был занят совсем другим: мимо них катились тяжелые телеги ломовиков, с дребезгом ехали извозчики, и люди шли без конца.

«Откуда только берется такая прорва народа»,— думал Сережка.

Он от удивленья раскрыл даже рот, но сейчас же получил от бежавшего мимо мальчишки здоровый подзатыльник.

— Ворона залетит, деревня!—крикнул мальчишка, удирая по тротуару.

Наконец, загудел фабричный свисток, и из ворот фабричного двора длинным хвостом потянулись рабочие, мужчины и женщины. Сторож осматривал каждого и сделал исключение только для дяди Василия.

— Тут к тебе пришли, Василий,—объяснил он.

Мать Сережки в первую минуту не узнала брата, так он изменился за десять лет, как ушел из своей деревни. Он и похудел, и оброс окладистой бородкой, и точно сделался ниже ростом. Поздоровавшись с сестрой, он как-то растерянно заговорил:

— Знаю... все знаю... Ну, что же делать!.. все под Богом ходим. Как-нибудь надо жить... Помаленьку устроимся...

Он покосился на Сережку и почесал в затылке. Мать заметила это движение и удержалась, чтобы не разреветься.

— Ну, пойдемте...—как-то нерешительно предложил дядя Василий.—Я тут близко живу... Да, угораздило тебя, Марфа... Ну, да поговорим после...

Они перешли дорогу, повернули влево и пошли на двор двух'этажного деревянного дома. Дядя Василий делался с каждым шагом все мрачнее... В глубине двора стоял покосившийся двух'этажный флигель, куда они и вошли.

— Держи левее,—повторил несколько раз в темноте дядя Василий.—А тут прямо...

Марфа с трудом поднялась по лестнице во второй этаж. Дядя Василий ждал в дверях.

— Кого это принесло?—послышался раздраженный женский голос из-за ситцевой занавески, разделявшей большую грязную комнату на две половины.

— А из деревни...—неохотно ответил дядя Василий, с ожесточением бросая свою фуражку куда-то в угол.—Значит, сестра... да...

«Чистая половина» освещалась дешевенькой лампочкой. На столе в переднем углу стояла приготовленной какая-то еда, а около нее сидела на стуле девочка лет пяти, сгорбленная и худенькая, как щепка.

— Ну, садитесь,—так гости будете,—приглашал дядя Василий.

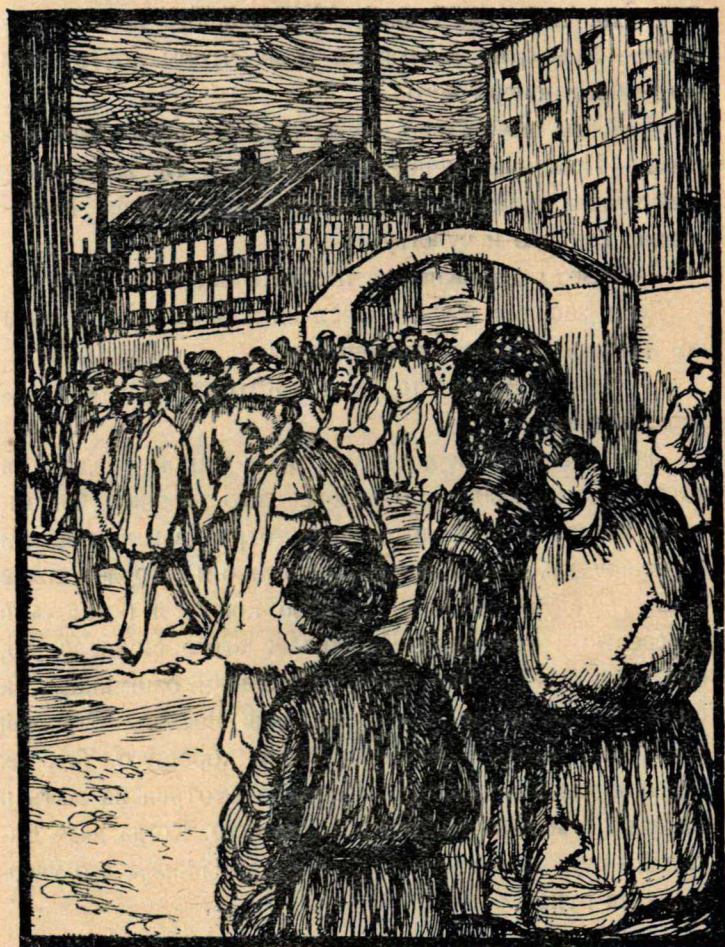
Из-за занавески выглянуло испитое женское лицо. Это была жена дяди Василия.

— Вот так обрадовали, нечего сказать—проговорила она и засмеялась.—В самый раз, дорогие гости.

Марфа стояла у дверей, не решаясь снять своей котомки. Она в первый раз видела невестку, о которой дядя Василий писал всего раз, что «принял закон с девицей Катериной Ивановной».

— Чего стоишь-то?—тоже с раздражением прого-





ворил дядя Василий.—Раздевайся... Катя, а ты, того, самоварчик сообрази.

— Да ты с ума сошел!—послышалось из-за занавески.—У нас не постоянный двор, чтобы поить чаем встречного-поперечного...

— А ты помалкивай,—уже грубо заметил дядя Василий.—Пожалуй, лучше так-то будет. Не встречные-поперечные пришли, а родная сестра, Марфа Мионовна. Так это и чувствуй...

— Всякая деревенщина ползет в избу...

Дядя Василий быстро ушел за занавеску, и оттуда слышались глухие всхлипывания.

— Чего дерешься-то, идол? Каторжная я вам далась, што-ли...

Дядя Василий вернулся к столу такой бледный и долго, молча, гладил по голове свою девочку. Он тяжело дышал и несколько раз смотрел злыми глазами на занавеску. Мать Сережки медленно и с трудом сняла свою тяжелую котомку, мокрую кофту и осталась в деревенском сарафане. Ее больше всего смущало то, что она может «наследить» грязными башмаками, а снять их не решалась. Ссора дядя Василия с женой из-за нее тоже не обещала ничего хорошего. Так уж все шло одно к одному... Сережка смотрел на мать и на дядю и начинал бояться последнего. Когда дядя Василий опять хотел итти за занавеску, Марфа его удержала за рукав.

— Не надо, Вася...

— Ах, оставь... Ничего ты не понимаешь. Катя, ты сейчас иди к свояку и позови его чай пить...



— Так и побежала...

— Ты опять?

Послышалось сморканье, а потом Катерина Ивановна, накрывшись платком, быстро вышла из комнаты. Дядя Василий проводил ее глазами, покрутил головой и проговорил совсем другим голосом.

— Марфа, ты не подумай, что Катя злая. Так, стих на нее находит... А спускать ей тоже невозможно. Ни, Боже мой... Способу не будет, ежели ей покориться. А так она добрая...

— А ты бы все-таки, Вася, ее не трогал—нерешительно проговорила Марфа, поглядывая на дверь.— Родня родней, а она жена...

— Ничего, все обойдется.

Дядя Василий подозвал Сережку, поставил его перед собой, пощупал руки и грудь и проговорил:

— Ничего, мальчуга хороший... Пристраивать его привела, Марфа?

— Уж и не знаю, Вася, как быть... Дома-то не у чего ему оставаться. Избу продали, лошаденку продали...

В ее голосе слышались опять слезы; но она удержалась, потому что дядя Василий нахмурился.

— Ладно, ладно, сестра... Будет. «Москва нашим слезам не верит», говорили старики. Устроим мальчугу, вот как... А ты на Катю не обращай внимания. Обойдется помаленьку...

Время от времени дядя Василий гладил свою девочку по голове и приговаривал:

— Смотри, Шурка, какие ребята в деревне-то растут! Вот какой крепыш... Не то, что ты.

— Она хвора?—спросила Марфа.

— Нет, этого нельзя сказать... А так, не она хлеб ест, а ее хлеб ест. Наши фабричные ребятки все такие изморыши... Значит, здесь климат такой для ребят, т.-е. сырости много... и притом грязь. Самый скверный климат, не то, что в деревне у вас, где один воздух...

## II.

Этот разговор был прерван шумом на лестнице, а потом в комнату вошел приземистый мужик в одной жилетке и опорках, надетых на босу ногу.

— А я вон-ан, Василь Мироныч!.. Здравствуйте... Эге, видно, ехала деревня мимо мужика, да в гости и приехала. Сестрица будете Василь Миронычу? Наше почтение, значит, вполне... ежеминутно...

Потом пришедший погрозил пальцем хозяину, укоризненно покрутил головой и заметил:

— Эх, брат, не хорошо обижать женский пол... Вот как разливается теперь Катерина Ивановна, река рекой. А промежду прочим, отлично... Пусть Катерина Ивановна чувствует свое ничтожество, потому как ежеминутно должна покоряться собственному законному супругу...

— Будет тебе околесную-то нести, Фома Павлыч,—остановил его дядя Василий.—А мы вот что сообразим... чтобы честь честью все было... Понимаешь?

— Ежеминутно...



Фома Павлыч при этом подмигнул и протянул воздух носом. Дядя Василий достал кошелек, вынул из него рублевую бумажку и, откладывая по пальцам, говорил:

— Сороковка водки—раз... пару пива—два... Теперь насчет закуски: колбасы вареной полфунта, селедочку... Парочку солененьких огурчиков... ситного три фунта... Понимаешь?

— Вот как понимаю, одна нога здесь, а другая там... Ежеминутно оборудуем.

Подмигнув и повернувшись на одной ноге, Фома Павлыч ушел.

— И для чего это ты затеваешь, Вася.—корила Марфа.—Деньги только понапрасну травишь, и жена будет тебя ругать.

— Перестань, говорят... Ничего вы, бабы, не понимаете. Как есть ничего... А при этом кто мне может запретить родную сестру угостить? В кои-то веки увидались... Бывает и свинье праздник, милая сестрица. Вы только не беспокойтесь, потому как у вас свои порядки, а у нас свои... А Фома Павлыч мой благоприятель и при этом свояк: на родных сестрах женаты.

Фома Павлыч, действительно, вернулся «живой ногой», а за ним пришла и Катерина Ивановна.

— Катя, самовар поскорее!—весело торопил дядя Василий.—Гости-то наши здорово проголодались. Сидят да, поди, думают: в городе толсто звонят, да тонко едят.

— Мы еще на машине хлебушка поели,—ответила Марфа.—Сытехоньки...

— Сказывай... Знаем мы вашу деревенскую еду.

Пока самовар кипел, дядя Василий развернул закуску и налил четыре рюмки водки.

— Нет, уж меня уволь. Вася,—отказалась Марфа.— Отродясь не пивала...

— Ну, как знаешь... Эй, Катя...

Катерина Ивановна вышла и выпила поданную ей рюмку.

— Это ей для здоровья дохтур велел,—объяснил дядя Василий, точно извиняясь за жену.—Ну, Фома Павлыч, будь здоров на сто годов...

— Аль выпить, Василь Мироныч? Ну, одну-то куды ни шло... Будьте здоровы... ежеминутно...

От селедки и колбасы Марфа тоже отказалась, а за ней и Сережка, что даже обидело дядю Василия. Зато они с величайшим удовольствием принялись за ситник и огурцы. Сережка ел с таким аппетитом, что у него даже выступили слезы на глазах. Мат потихоньку дергала его за рукав рубашки; но мальчик был слишком голоден, чтобы понимать это предупреждение. Маленькая Шура с удивлением смотрела на него своими большими глазами и, наконец, проговорила:

— Папа, дай мне такой же точно кусок ситника... и огурец...

— Позавидовала? — смеялся дядя Василий. — Ну, учись у деревенских, как хлеб нужно есть... Она у нас, как барышня,—только посмотрит да понюхает еду.

Когда сороковка была выпита, дядя Василий и Фома Павлыч сделались сразу добрее.

— Что же это у нас закуска даром остается?—



говорил дядя Василий, почесывая в затылке. — Фома Павлыч, не иначе дело будет, как ты позовешь Пашу, а окромя этого...

Он что-то шепнул Фоме Павлычу на ухо и сунул что-то в руку.

Катерина Ивановна выпила две рюмки, и ее бледное лицо покрылось красными пятнами. Она уже не пряталась за занавеской по-давешнему, а сидела у стола и не сводила глаз с Сережки.

— Вот и посмотри, Катя, какие деревенские бывают!—ласково говорил дядя Василий.—Сколоченный весь...

— На сиротство Бог и здоровья посылает,— задумчиво отвечала Катерина Ивановна, вздыхая.—Уж, кажется, мы ли не кормим нашу Шуру, а толку все нет. Едва притронется к пище, и сыта...

Пришла Парасковья Ивановна. Она походила на сестру,—такая же худая и с таким же сердитым лицом.

— Загуляли?—проговорила она, подсаживаясь к столу.

— Загуляли, Паша,—ответил дядя Василий.—Потому нельзя: сестра.

Фома Павлыч принёс вторую сороковку и на пятак студню в бумажке.

— Это от меня закуска, Марфа Мироновна... На целый пятак разорился, потому как и мы с вами в родстве приходимся. Вот и мальчуган поест студню...

Парасковья Ивановна выпила рюмку водки и страшно раскашлялась.

— Чахоточная она у меня,—объяснил Фома Па-

вльч гостье.—Скоро помрет... Две уж весны помирала. Ежеминутно...

После второй сороковки мужчины сделались окончательно добрыми. Фома Павлыч называл дядю Василия уже Васькой, хлопал по плечу и лез целоваться.

— Отстань...—уговаривал его дядя Василий.

— А ежели я тебя люблю, дядя Василий? То есть— вот как люблю... Скажи мне: «Фомка, валяй в окно!» И выскочу, ей Богу, выскочу... Ежеминутно. У меня уж такой скоропалительный характер... Или люблю человека, или терпеть ненавижу.

Парасковья Ивановна подсела к Марфе и начала ее расспрашивать про деревенское житье-бытье. Марфа повторила свой рассказ: как захворал муж, как продали избу и лошадь, как она оставила маленькую девочку у свекрови и повезла Сережку в Питер.

— Куда же ты его денешь в Питере?—спрашивала Парасковья Ивановна.

— А не знаю... Ничего не знаю, голубушка. Как уже Бог устроит, так тому и быть...

Выпившие женщины жалели ее и качали головами. Трудно придется такому махонькому мальчонке в чужих людях. Еще неизвестно, куда попадет. Конечно, Бог сирот устраивает, а все-таки жаль...

Дядя Василий, когда начали пить пиво, вдруг сделался скучным и все отмахивался рукой, как отгоняют комаров. Фома Павлыч раскраснелся, хихикал и к каждому слову прибавлял: «ежеминутно».

— Чему ты радуешься-то?—говорил ему дядя Ва-



силий.—Несчастные мы с тобой люди, и больше ничего. Да... И не люди. а так... слякоть!

— В каких это смыслах будет, Васька? Я в другой месяц все пятьдесят цалковых заработаю... Какого же тебе еще человека надобно? Ступай-ка, заработай столько в деревне...

— В деревне? Да ты и во сне не видал, какая такая деревня есть.. «Пятьдесят цалковых!» Велики твои пятьдесят цалковых... Как будто и деньги, а в руки взять нечего. Я вот тоже по сорока цалковых зарабатываю, а где они? Ты вот и подумай, шалый человек... И никому мы с тобой не нужны. Вот во всем не нужны... А вот деревня-то всем нужна,—она, матушка, всех нас, дураков, кормит и поит. Без деревни-то мы все бы передохли, как земляные черви.

— Ежеминутно,—бормотал Фома Павлыч.—Какой же человек, ежели ему хлеба не дать. Правильно...

— То-то вот и есть... И народ там правильный, в деревне, потому как вся ихняя жисть есть правильная, а у нас баловство. Ну, вот выпили мы с тобой две сороковки, поели колбасы да селедки, а дальше что? К чему, например, эта самая колбаса? Вот Сережка и не глядит на нее, потому ему претит... Ты ему шей дай, каши, картошки, а не колбасы. Он будет здоровый мужик, а мы подохнем с своей колбасой. В деревне-то как говорят: «растет сирота—миру работник». А у нас сирота у всех, как заноза. А ты мне свои пятьдесят цалковых показываешь! Тьфу. Вот что твои пятьдесят цалковых да и мои сорок вместе...

Дядя Василий чем дальше говорил, тем больше сер-

дился. Лицо у него покраснело, глаза сделались злые; время от времени он кому-то грозил кулаком.

— Правильно...—соглашался во всем Фома Павлыч, начиная моргать глазами.—Ежеминутно.

Этот разговор закончился совершенно неожиданно. Фома Павлыч поднялся, подошел к дяде Василию и, протягивая руку, проговорил:

— Коли так, Васька... ежели, например: сказать к примеру... воопче... Ну, значит, и ударим по рукам.

— В чем дело?

— Давай, просватывай племяша... Значит, тово... беру его в ученики... Человеком сделаю...

— Марфа, слышишь?—спросил дядя Василий.—Значит, определяй Сережку по сапожной части...

— Не знаю, как ты, Вася...—испуганно отвечала Марфа.

— Ну, так руки,—проговорил дядя Василий.—Фома Павлыч человек хороший, хоть и пьяница; не обидит Сережку. А там видно будет... По условию, на пять лет, Фома Павлыч?

— На пять, Васька...

Они ударили по рукам, а Марфа должна была разнять руки. Она горько плакала. Сережка смотрел на всех и ничего не понимал.

— Ну, теперь будем литки с тебя пить,—заплетавшимся языком проговорил Фома Павлыч.—Посылай еще за сороковкой...



### III.

Когда Фома Павлыч проснулся на другой день, у него страшно трещала голова с похмелья. Он лежал несколько времени на постели с закрытыми глазами и старался припомнить, какую сделал вчера глупость. Глупость была, Фома Павлыч это помнил, но очень смутно. Из-за ситцевой занавески, которая отделяла кровать от большой русской печи, он видел только спину жены. Она, по обыкновению, встала рано и хлопотала по хозяйству. Фома Павлыч по тому, как жена гремела жестяной кастрюлей и бросала ухваты, понял одно, что она сердится и сердится именно на него.

— Ах, братец ты мой...—сообразил Фома Павлыч, продолжая валяться на постели,—выходит дело-то ежеминутно... Ну, чего Паша злится? Уж эти бабы... У самой бы так-то голова поболела с похмелья... да. Тогда бы узнала, каково на свете жить.

Парасковья Ивановна несколько раз заглядывала за занавеску и, наконец, не утерпела.

— Ты это что валяешься-то, лежебок?—заворчала она.—Белый день на дворе, а ты дрыхнешь.

— Паша, я... ежеминутно.

— Ступай хоть полюбуйся на нового работника. Кормильца нанял.

Фома Павлыч сел на кровати, поскреб свою виноватую голову и сразу все сообразил.

— Ах, братец ты мой... Оно, действительно, Паша, того... Одним словом, ежеминутно!.. И на кой чорт я его взял... Где он?

— А сидит в мастерской и смотрит, как другие работают. Совсем у тебя ума нет, вот и навязал себе на шею кормильца...

— Ежеминутно, Паша...

И для чего, в самом деле, он взял мальчишку в ученики? Припоминая, как было дело, Фома Павлыч только почесал в затылке. Просто хотелось выпить и сорвать с дяди Василия «литки», а своих денег не было.

— Ах, не хорошо, братец ты мой, Фома Павлыч, вот даже как не хорошо. А ежели отказаться от мальчишка—перед дядей Василием совестно... Вот тебе, пьяный дурак!—погрозил Фома Павлыч самому себе кулаком.—Бить тебя мало...

Сапожная мастерская помещалась в подвале старого деревянного дома. Она состояла из двух комнат; в одной была мастерская, а в другой жил сам хозяин. Мастерская освещалась всего двумя маленькими оконцами, выходившими на улицу. Эти окна лежали вровень с землей и давали слишком мало света.

Старый подмастерье, отставной солдат Кирилыч, и днем работал с огнем. Перед ним стояла всегда жестяная лампочка, свет которой пропускался сквозь стеклянный шар с водою, заменявший увеличительное стекло. Кирилыч страдал глазами и плохо видел. Кроме него были два ученика подростка, лет по пятнадцати—рыжий Ванька и кривой Петька. Кирилыч всегда был мрачен, любил вздыхать и думать вслух. У него всегда были наготове какие-то сердитые мысли, которыми он точно стрелял в неизвестного врага. Ванька и Петька отличались веселым характером, любили подраться и,



вообще, что-нибудь поозорничать. Одеты они были, как все сапожные ученики, в грязные рубахи, опорки и грязные фартуки, когда-то белого цвета. Для своих лет оба были слишком малы ростом и казались гораздо моложе. Испитые зеленые лица говорили о многолетнем сиденьи в подвале.

В первую минуту, когда Сережка проснулся, — он спал на лавке—он долго не мог сообразить, где он. Было еще темно, но рабочие сидели уже вокруг низенького столика и работали. Сережка видел только согнутую спину Кирилыча, а из-за нее смотрели на него Петька и Ванька.

— Проснулся, деревенский пирожник,—проговорил рыжий Ванька и фыркнул.

Кривому Петьке тоже понравилось это прозвище, хотя оно и было придумано без всяких оснований... Петька тоже фыркнул. Конечно, пирожник, настоящий деревенский пирожник!.. По этому случаю кривой Петька даже ткнул рыжего Ваньку в бок кулаком, и обоим сделалось ужасно смешно. Кирилыч сурово посмотрел на них поверх круглых очков в медной оправе и проговорил:

— Вы-то чему обрадовались? Хозяйское дело: кого хочет, того и берет. На то он и хозяин... да. Будь я хозяин,—кто мне может указать? Что захотел, то и сделал... Я, например, главный подмастерье и тоже по своей части, что захочу, то и сделаю.

— А ежели он пирожник?—ответил рыжий Ванька.

— Не наше дело...

Сережке не понравилась мастерская. И темно, и

сыро, и холодно, и дышать тяжело. Пахло свежим сапожным товаром, дегтем и еще чем-то кислым... так пахнет, когда мочат долго кожу. Рабочие тоже ему не понравились. Они, наверно, злые, особенно рыжий Ванька, скаливший свои белые, крепкие зубы. Парасковья Ивановна несколько раз выглядывала из своей комнаты, и Сережке казалось, что она смотрит на него такими злыми глазами. Сережке вдруг захотелось плакать, и он решил про себя, поглядывая на дверь:

— Убегу... Непременно убегу к себе в деревню!

Мысль о деревне разжалобила Сережку. Он припомнил проданную новую избу, проданную лошадь... Если бы жив был отец, все было бы иначе. Маленькое детское сердце сжалось от страшной тоски по родине. Сережка мысленно видел свою деревенскую церковь, маленькую речку за огородами, бесконечные поля, своих деревенских товарищей... Там все были добрые и хорошие. В заключение Сережка еще раз подумал про себя: «убегу».

Фома Павлыч вошел в мастерскую всклооченный, с опухшим лицом и красными слезившимися глазами.

— Сапоги Корчагину готовы?—строго спросил он, не обращаясь ни к кому.

— К вечеру будут готовы...—ответил сурово Кирилыч.

— То-то, смотрите у меня...

На Сережку хозяин даже не взглянул, а пошел обратно на свою половину. Послышались переговоры.

— Опохмелиться-бы, Паша?—виновато говорил Фома Павлыч.



— В самый раз...—сердито ответила Парасковья Ивановна.—Давай деньги...

Фома Павлыч только что-то промычал.

— Кто велел вчера натрескаться?

— Кто? А ежели дядя Василий посылал за мной?

— Дядя Василий, небойсь, на работе, а ты валяешься... Чему обрадовался-то?

— Всего один стаканчик, Паша...

— Отстань, смола!

— Паша... Ах, Боже ты мой!.. Ежеминутно...

У Парасковьи Ивановны были припрятаны на черный день три рубля; но она крепилась и не давала денег. Фома Павлыч надел свои опорки, взял шапку и хотел уходить.

— Ты это куда поплелся?—остановила его Парасковья Ивановна, загораживая собою дверь.—Сказано не пущу. Вот еще моду придумал.

Фома Павлыч обиделся и начал отталкивать жену, приговаривая:

— Как ты можешь мне препятствовать? Кто хозяин в дому? Ступай, прочитай вывеску: «Фома Павлыч Тренькин». А ты: «не пущу». У меня дело есть...

— Знаем твои дела. В кабак уйдешь, а то в портерную.

Этот неприятный разговор был прерван совершенно неожиданно. Отворилась дверь, и вошла мать Сережки. Она отыскала глазами маленький образок в углу, помолилась и, поклонившись всем, проговорила:

— Здравствуйте... Хозяину с хозяйшкой много лет здравствовать.

Потом она передала Парасковье Ивановне какой-то узелок, в котором оказались сороковка водки, горячий колач и десяток принесенных из деревни яиц. Самой Марфе не догадаться бы все это сделать, но научила Катерина Ивановна. Фома Павлыч сразу отмяк.

— Вот это настоящее дело, Марфа Мироновна... В самый, то-есть, раз. Паша, сделай-ка нам яичницу и прочее.

Марфу провели на хозяйскую половину и посадили к столу. Фома Павлыч совсем повеселел, даже потирал руки от удовольствия.

— А вы, небойсь, о своем детище беспокоитесь, Марфа Мироновна? Будьте без сумления... Все в лучшем виде устроим. Человеком будет...

Когда яичница была готова, позвали Кирилыча.

— Ну-ка, Кирилыч, поздравимся с новобранцем!— говорил Фома Павлыч, разливая водку.—Что делать, выучим помаленьку...

— Как не выучить, ежели понятие есть,—уклончиво ответил Кирилыч, выпивая рюмку.—Все дело в понятии... Без понятия никак невозможно.

Выпитая сороковка всех оживила, и даже Парасковья Ивановна повеселела.

— Что же, пусть его живет,—проговорила она.—Помаленьку выучится... Все так же начинали. Ежели баловать не будет, так и совсем хорошо.

Марфа осмотрела мастерскую и хозяйскую половину, и ей тоже не понравилось, как Сережке. Не красно живет Фома Павлыч...



#### IV.

Марфа погостила всего три дня и собралась домой. Это было страшным горем для Сережки, первым детским горем. Он так плакал, что Катерина Ивановна взяла его к себе.

— Еще убежит как раз,—говорила она мужу.— Карахтер у него такой. Тошно покажется... Пусть пока поиграет с Шуркой.

Сережка не мог успокоиться целых два дня. Он как-то сразу привязался к маленькой Шуре, тихой и послушной девочке, вечно сидевшей на стуле. Она ходила с трудом, как утка. Сережка мастерил ей свои деревенские игрушки, пел деревенские песни, а главное, рассказывал без конца о своей деревне.

Шура все говорила и все понимала. В ее воображении Сережкина деревня рисовалась каким-то земным раем. Кроме своего грязного двора и грязной фабричной улицы, она ничего не видала. Девочка напрасно старалась представить себе те нивы, на которых родится хлеб, заливные луга, с которых собирают душистое, зеленое сено, домашнюю скотину, огороды, лес, маленькую речку, белую деревенскую церковь, зеленую деревенскую улицу. Это незнание доводило Сережку до отчаяния.

— Эх, если бы тебе ноги, Шурка...—повторял он.

— Что бы тогда, Сережка?

Сережка осторожно оглядывался и шептал:

— А мы бы убегли с тобой!.. Видела котомку у мамки моей? Вот такую же котомку бы сделали, нало-

жили бы сухарей, да по машине бы и пошли... Я знаю дорогу. Прямо бы в свою деревню ушли... А там спрятались бы в бане... Потом я пошел бы к дяде Якову. У него три лошади... Вот как бы ты выправилась в деревне-то.

Маленькая Шура только отрицательно качала своей большой золотушной головкой.

— Я боюсь, Сережка...

— Чего бояться? Будешь здоровая, как наши деревенские девки... Вот ты и есть-то не умеешь по настоящему, а там наелась бы черного хлеба с луком да с редькой, запила бы квасом... вот как бы расперло.

Мысль о бегстве засела в голове Сережки клином с первого дня городской жизни. Он лелеял эту мысль и любил верить ей только одной Шуре.

— Ты только никому не говори...—просил он ее.

— А тебя поймут дорогой...

— Я руки искусаю...—Палкой буду драться.

В мастерской Сережка освоился быстро. Работа была нетрудная. Пока он сучил шнурки для дратвы, приделывал к концам щетинки, натирал варом; потом Кирилыч научил его замачивать кожу и класть заплатки на женские ботинки. В первый же праздник рыжий Ванька его поколотил, но не со злости, а так, как бьют всех новичков.

— Нас еще не так дубасили,—объяснил он плакавшему Сережке.—А ты просто пирожник...

Кривой Петька изображал собой публику.

— Дай ему еще хорошего раза, Ванька,—поощрял он приятеля.—Ишь, какие слезы распустил пирожник...



Фома Павлыч и Кирилыч совсем не обижали Сережку, и последний убедился, что в городе не все злые. Парасковья Ивановна даже жалела его, когда он по праздникам сидел один в мастерской.

— Ты бы хоть на улицу шел с ребятами поиграть...

— Они дерутся.

— А ты им сдачи давай.

— Они больше меня...

Праздники для Сережки были истинным мученьем. Делать было нечего, и его заедала мысль о своей деревне. Он пробовал выходить на улицу, но кроме неприятностей из этого ничего не получалось. По шоссе бродила без цели и толку громадная толпа народа. Все галдели, толкались, кричали. К вечеру появлялись пьяные, и начинались драки. Фабричные ребяташки шныряли в этой праздничной толпе, как воробы, затевая свои драки, шалости и редко игры. Эти изможденные, бледные тени не умели играть... Сережку удивляло, что все они какие-то злые. Он или сидел в мастерской, или уходил к дяде Василию играть с Шурой.

— Чудной он какой-то,—жаловалась сестре Парасковья Ивановна.—На других ребят и не походит совсем...

— Погоди, привыкнет—такой же будет. Деревенское-то все соскочит... Тоскует все.

— Тих уж очень...

К вечеру Фома Павлыч возвращался домой всегда выпивши. В праздники ему разрешалось выпить, и Парасковья Ивановна не ворчала. Он садился у стола и кричал:

— Сережка, как ты меня понимаешь... а? Говори: «сапожный мастер Фома Павлыч Тренькин...» Так. Враз... Второе: «Где учился Тренькин?» У немца Адама Адамыча... Немец был правильный. Так... А почему? Потому, что он немец... А про русского сапожника говорят прямо: «пьян, как сапожник». Хха... Ежеминутно!...

Под пьяную руку Фома Павлыч непременно кому-нибудь завидовал—то немцу Адаму Адамычу, у которого прожил в учениках шесть лет, то дяде Василию, который получает жалованье, как чиновник, то деревенским мужикам, которые живут помещиками...

— Сережка, ведь лучше в деревне... а?

— Лучше...

— Вот то-то... Это только название, что мужик. А как он живет-то, этот самый мужик?

— Всяко живут, Фома Павлыч... Разные мужики бывают. Которые совсем хорошо, которые ровненько, а которые и совсем худо.

— Худо? А сколько ден в году твой мужик работает? Только летом, и то с передышкой... Обсеялись—жди страды, отстрадовали,—лежи целую зиму на печи. Ну, с'ездить помолотить, на мельницу, за дровами там—только и всего. Мы-то вот целый годдохнем над работой, а мужику что... Брошу я свою мастерскую и уеду в деревню жить. Будет у меня пашенка, лошаденка, коровенка, огородишко... главное—все свое. Никому Тренькин не обязан... Так, Сережка? Дядя-то Василий правду говорит, что мы есть самые пропащие



люди. Денег зарабатываем бугры, а какая цена нашим деньгам: что нажил, то и прожил, а у самого опять ничего.

Иногда заходил дядя Василий. Он тоже немного выпивал в праздник и любил поговорить о деревне и правильной жизни. Выпивши, дядя Василий непременно начинал жалеть свою Шурку и даже плакал. С Сережкой он держал себя строго и спрашивал каждый раз Фому Павлыча:

— Ну, как мой племян? Не балует?..

Все почему-то не доверяли Сережке и ждали, что вот-вот он выкинет какую-нибудь штуку. Эти подозрения скоро оправдались. Подметила дело своим бабьим глазом Парасковья Ивановна. В углу на печи начали появляться корки черного хлеба. Потом они исчезали. Парасковья Ивановна принялась выслеживать Сережку и скоро открыла припрятанные им сухари.

— Это он себе на дорогу готовит,—сообразила она.— Ах, прокурат... Уж эти тихонькие!..

Дальше открыла она, что Сережка устроил себе из старой рубахи и разного тряпья настоящую котомку. Когда Сережка укладывался спать, она потихоньку приносила эту котомку и показывала мужу.

— Что же, правильно,—сообразил Фома Павлыч.— Провиант есть... Теперь остается только забрать спичек и нож. Без этого невозможно... Малый-то серьезный.

Приготовдялся Сережка к бегству очень медленно, почти всю зиму. Он уносил из-за еды по кусочку хлеба

и сушил на печке. А потом, как говорил Фома Павлыч, явилась коробка шведских спичек. Мать оставила Сережке пятак, и он истратил на спички «родную копейку». Все дело оставалось в ноже. На четыре копейки его не купишь, а украсть нехорошо.

Ну, как нож положит в котомку, тогда и накроем,—решил Фома Павлыч.—Закон требует порядку... Ежеминутно.

Около масленицы в котомке появился и нож.

— Шабаш, брат!—заявил Фома Павлыч.—Теперь надо будет позвать дядю Василия. Его дело... Мы его не обижали.

В решительную минуту Парасковья Ивановна невольно пожалела Сережку. Дядя Василий бить будет.

Роковой день наступил. Это было как раз воскресенье перед масленицей. Позвали дядю Василия. Парасковья Ивановна принесла котомку, к которой уже были пришиты ременные лямки.

— Это что такое?—громко спросил дядя Василий.

Сережка даже весь побелел и только взглянул с неммым укором на Парасковью Ивановну.

Расправа произошла тут же, в мастерской. Дядя Василий больно прибил Сережку, а потом высек. Рыжий Ванька помогал ему от чистого сердца. Сережка даже не кричал, а мычал от боли.

— Я тебя выучу, змееныш!—кричал дядя Василий, не помня себя от злости.—Тебе добра хотят, а ты что затеял?!

Он опять хотел бить Сережку, но вступилась Парасковья Ивановна и не дала.



— Поучили, и будет,—уговаривала она, удерживая дядю Василия.—Мал еще, ну и глупит... Мы свое думаем, а он свое.

## V.

Первой мыслью Сережки после наказания было поджечь мастерскую Фомы Павлыча и этим устранить причину всякого зла в корне. Но так как, кроме мастерской, мог сгореть весь дом, а главное деревянный флигель, в котором жила маленькая Шурка, то эта мысль заменилась другой—итти и утопиться в Неве. Последнего приходилось подождать, потому что сейчас Нева была покрыта льдом, а броситься в прорубь Сережка не желал. Он боялся холодной, ледяной воды.

Всю масленицу Сережка просидел дома и ни за что не хотел показываться ни на дворе, ни на улице. Ему казалось, что все будут указывать на него пальцами и говорить:

— Вот это тот самый Сережка, который хотел убежать к себе в деревню, и которого дядя Василий высек...

В прощенный день на масленице пришла Катерина Ивановна и сказала:

— Ты это что же, Сережка, и глаз к нам не кажешь... Шурка без тебя вот как стосковалась. Пойдем.

Сережка боялся итти к дяде Василию, но ему хотелось видеть Шурку, по которой он уже соскучился. Скрепя сердце, он пошел за теткой. К счастью, дяди

Василия не оказалось дома. Шурка страшно ему обрадовалась и сделала строгий выговор.

— Ты папы не бойся,—уверяла она.—Он добрый...

— Ну, не всякое лыко в строку,—говорила Катерина Ивановна, оправдывая мужа.—Мало ли что бывает... Тоже и то сказать, Сережка, что и ты не прав. Хоть бы Шурку пожалел: убежал бы, а она с кем стала бы играть?

Сережке вдруг сделалось легче, точно свалилась гора с плеч. Да, он, действительно, забыл о маленькой больной Шурке.

— Это ты от меня хотел убежать,—плаксиво говорила девочка.—Ты нехороший...

Сережка плакал, потому что ему было жаль и своей деревни, и больной городской девочки.

Время шло. Проходили дни, недели, месяцы... Сережка продолжал думать о деревне и мечтал о том блаженном времени, когда сделается совсем большой и вернется домой.

Через два года он стал получать уже маленькое жалованье, а потом зарабатывал кое-что в свободное праздничное время. Сколько было радости, когда он мог послать матери первые заработанные три рубля.

— Ну, вот, молодец!—похвалил дядя Василий.—Кто родителей помнит, того бог не забывает. А в деревню хочешь уйти?

— И уйду, дядя, как только буду большим.

Теперь Сережка уже не боялся дяди Василия и говорил с ним смело. Дядя Василий сам любил поговорить о деревне и правильной жизни.



— Отчего же ты, дядя, не уйдешь в деревню?—удивлялся Сережка.

— А так... Привык здесь, а там я уже чужой, как выдернутый зуб. Какой я буду мужик, ежели меня по крестьянству определить.. Курам на смех. А на фабрике-то я дома... А главное, не один я тут,—большие нас тыщи народу. На людях и смерть красна... Который человек ежели без ошибки, так всегда можно жить, и даже очень превосходно.

Из Сережки рос серьезный, трудолюбивый мальчик, так что дядя Василий говорил про него:

— Ну, этот далеко пойдет. Он нам всем утрет нос... Много в нем этой самой деревенской силы.

Фома Павлыч только потряхивал головой. Что же, действительно, парень хороший, хоть куда. Вырастет—вот какой работник будет.

Лучшим развлечением Сережки, попрежнему, оставалась больная Шурка, которая тоже выросла, но не поправлялась. Она была такая же бледная и так же плохо ходила. Сережка играл с ней, как маленький. Теперь Катерина Ивановна души в нем не чаяла и принимала, как дорогого гостя. Она выросла в городе и тоже любила послушать рассказы Сережки о деревне.

— Что ты там делать-то будешь, Сережка?—спрашивала она.

— А все... Землю пахать, сеять, сено косить. Я природный крестьянин, и мне сейчас должно общество надел дать. Ну, лошаденку заведу, корову... Пока мать за хозяйством присмотрит, а потом сестренка подрастет. Женюсь, потому без бабы какое же хозяйство...

— Хочешь богатым быть?

— Зачем богатым... И так проживем. Главное, не надо эту проклятую водку пить... От нее все зло и по городам, и по деревням.

— Это ты верно, Сережка.

Шурка слушала все эти разговоры и только вздыхала. Она была уверена, что сейчас бы поправилась, если бы попала в деревню.

— Конечно, поправилась бы,—уверял Сережка.— У нас вон какие здоровые деревенские девки. Не чета фабричным.

— Это уж, конечно... Где же фабричным... синявки какие-то!..

Рыжий Васька и косой Петька давно примирились с «деревенским пирожником», тем более, что он частенько выручал их от разных неприятностей. Молодые люди любили погулять и скоро узнали дорогу в портерные и трактиры. Из-за этих удовольствий как-то и работа не выходила в срок, и Кирилыч ворчал, а Парасковья Ивановна грозила, что прогонит.

— Вон какие лбы выросли,—ворчала она.—Пора и своим умом жить. Сегодня обрадовались, завтра обрадовались, а кто работать будет?

Фома Павлыч урюмо отмалчивался, потому что сам встречался в трактире со своими подмастерьями. Кирилыч «срывал» в год раз и пропадал недели на две. В конце концов, самым надежным человеком в мастерской оставался Сережка. Через три года он уже научился работать, как настоящий мастер, и только ро-



бел немного, когда приходилось снимать мерки и выкраивать товар... Как раз ошибешься!

— Ты уж того, Сережка, постарайся,—говорил Фома Павлыч все чаще и чаще.—Понимаешь? Потому как есть настоящий мастер Фома Павлыч Тренькин и не желаю оказывать себя свиньей... У меня своя сапожная линия. Ежеминутно.

И Сережка старался. От работы и житья в подвале он сильно похудел, вытянулся, и в его лице появилась какая-то скрытая озлобленность, как и у других мастеровых. Он также бегал в опорках и в грязном фартуке, а по праздникам одевался уже совсем по-городски—в пиджак, суконный картуз и суконные брюки. Верхом торжества в этом городском костюме были резиновые калоши, подержанное осеннее драповое пальто и зонтик. Когда дядя Василий увидал его в первый раз в таком костюме, то невольно проговорил:

— Ну, теперь, Сережка, ничего тебе не остается, как жениться. Да... Вот тебе и выйдет вся деревня.

Наконец прошли и пять лет. За последние годы Сережка успел кое-что отложить себе и заявил в день своего совершеннолетия Фоме Павлычу:

— Хозяин, теперь мы с тобой в расчете.

— Ну?

— Значит, еду к себе в деревню...

— Спасибо здешнему дому—пойду к другому? Ежеминутно...

Фома Павлыч страшно обиделся и побежал сейчас же жаловаться дяде Василию. Тот его выслушал, почесал в затылке и проговорил:

— Ничего не поделаешь, Фома Павлыч... Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.

— А я-то как без него останусь? Во так ежеминутно... Паша как услышала, так заревела... Он у нас родным жил. Все его жалеют. Главное, непьющий, в аккурате всегда.

Сережка простился со всеми, как следует. Больше всех горевала о нем Шурка, которой было уже десять лет. Она горевала молча и старалась не смотреть на Сережку.

— В крестьяне запишешься?—спрашивал дядя Василий.

— В крестьяне... Зимой сапоги буду шить.

— Та-ак... Что же, дело не вредное. С богом... Ужо в гости к тебе приедем с Фомой Павлычем...

— Милости просим... Ну, прощайте да не поминайте лихом...

Катерина Ивановна и Парасковья Ивановна плакали о нем, как о родном.

Дело было осенью, когда уже начинались дожди, и дни делались короткими. По вечерам в мастерской частенько вспоминали Сережку и завидовали ему, особенно Фома Павлыч.

— Теперь страда кончилась, все с хлебом,—говорил он с каким-то ожесточением.—Свадьбы играют... Пиво свое домашнее, закуска всякая тоже своя, а водку покупают прямо ведрами. Ежеминутно... Эх, жисть!

Можно себе представить общее изумление, когда ровно через три недели, поздно вечером, в мастерскую вошел Сережка.



— Ты это откуда взялся-то?—удивился Фома Павлыч.— Вот так фунт.

— Где был, там ничего не осталось,—уклончиво ответил Сережка.

Вечером у дяди Василия был устроен настоящий пир. Сережка купил на собственные деньги водки, пива и разной закуски. Угощались дядя Василий и Фома Павлыч с женами и Кирилыч.

— Эх, брат, как же это ты так, т.-е. ошибку дал?—спрашивал дядя Василий.—Мы-то тебе тут завидуем, а ты—вот он.

— Скучно показалось, дядя... Точно чужая вся деревня... И все люди точно чужие. Пожил, посмотрел, и потянуло меня опять в город... Обрусел я здесь совсем, а там чужой стал... Они чужие, и я чужой. Вот сколочусь деньжонками, мать сюда с сестренкой выпишу. Будем вместе жить... Главная причина—делать мне там нечего цельную зиму. Какие в деревне сапоги, — одно званье, что сапог. Даже по ночам просыпался: так и вижу всех живыми—Фому Павлыча, дядю Василия, Кирилыча. Слава богу, худа ни от кого не видал. Ну, так и порешил... Значит, уж такая линия вышла!.. Шурку вот все жалел...

## Зимовье на Студеной.

### I.

Старик лежит на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно, он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться. Его разбудило осторожное царапанье в дверь,—это просился Музгарко, небольшая, пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!..—заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой.—Ты у меня по-царапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки с'ели!..—обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял,—отчего у него болела спина, и отчего завывала со-



бака. Все, что было можно рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно—и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся, почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку крутым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, горящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!..—ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз.—Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное лето, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а?—разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня.— Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешенная на углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик—сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый

глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись,—ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой.—Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит,—объяснил старик собаке на-ходу.—Оно и вышло, што к ненастью. Вона, как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось,—лес казался ближе, речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку,—за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и



жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю.

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку?—окликнул его старик.—Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Под'ехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко

сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку?—дразнил его старик, показывая рыбу.—А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужю поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, в роде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет,—объяснил старик собаке.—Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то, и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом бревно подгнило, в третьем угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебыюсь зиму,—думал старик вслух, постукивая топором в стену.—А вот обоз придет, так тогда.

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз,



который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то, из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых, пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер!—даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его, и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него был и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел Бог кончать век: умрет—некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слово сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все, и тоже любила его. Не один раз случалось

так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко,—говорил старик, глядя собаку по спине.—Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, с'едят тебя зимой волки!.. Пора, видно нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной,—смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по р. Каме. Старик был тогда совсем молодым, а звали его по деревне Елеской Шишмарем,—вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним, еще мальчиком, прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и курицу, и оленя, и медведя,—что попадет. Из дому уходили не-



дели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья,—два мальчика да девочка, славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но Богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплеховал:—поскользнулась у Елески одна нога, и медведь надел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника на-смерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими

охотниками,—одним словом, пришла беда неминуемая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаванием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору?— спрашивали его промышленники.—Там на реке Студеной зимовье, так вот тебе быть там сторожем. Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты—поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство...—замаялся Елеска.—Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пойдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежды только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

## II.

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно



сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас—порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного, как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли,—объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком.—А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное—соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил.—Ах, кабы соль была,—не житье, а рай. Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил,—какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое боль-

ше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запастись ее приходилось бы пудов по двадцати,—где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду. Особенно жалел старик, когда летним делом, в Петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро,—два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина—как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели вozy, и слышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли?.. Принимай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слышал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять



на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли!—удивился старик.— Проспал обоз... ах, не хорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял,—заметил с грустью старик.—И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других,—шла дорогая печорская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить воза в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки, лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик\*подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на

деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший в Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться? Христос с нами!.. Привычное наше дело. В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— А Бог мне ее послал... Не ладно это про пса говорить, а только оно похоже. Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привез. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку,—все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта—так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как-будто не ладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал,



brateц ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждять. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками об'яснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, чтобы волки не с'ели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметаи,—ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку за-теплю перед образом, и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему

надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ей ненасыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживает... А я хожу и смотрю: мне Бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймает. Любезная тварь—перелетная птица... Я ее не трогаю, потому трудница перед Господом. А когда гнезда она строит,—это ли не божее произволение... Человеку так не построить. А потом матки с выводками на Студеную выплывать... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летичко прокатится, а к осени начнет птичка грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суется, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стайей летит. На Студеной все околачиваются... Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уж я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгинет.



Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволение, свой предел... Одного только у меня нехватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон, будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скушно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже, не простая тваринка, петушок-то: другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка,—весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка,—весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями.—Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня да и завожили... Ну, оставайся с Богом.

— Соболяка припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький—ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью, как гаркнет... То-то радость и утешение. Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому?—дразнит Елеска собаку.—Только твоего и ремесла, што лаять... А вот ты по-петушину спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушка, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый!..

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

### III.

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, а избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыму...

Бьет пурга уже две недели, две недели не выходит



из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой...—плачет старик и целует верного друга.—Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почувял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя?—смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припасу едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воеет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учужали беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспоминался старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учужал запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился

на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прыгнул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, — Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко...—повторял несчастный старик, целуя мертвого друга.—Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарко, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который попрежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарко. И делается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятая, а все-таки птица, и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко!—повторяет Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили





к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, пойду на Колву, а то в Чердынь проберусь!—решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запаса дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал; жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, усталал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

— Волки...—мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться, и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей взлаял Музгарко. Да, это он... Ближе,



ближе—это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит, действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка?—спрашивает вогул, а сам смеется.—Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.

## Богач и Еремка.

Р а с с к а з.

### I.

— Еремка, сегодня будет пожива,—сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру.— Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы,— трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный охотник Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный—длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье,—посмеивался Еремка.—И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж видно, нам на роду написано вместе жить. Два сапога—пара.

Охотник Ерема, до известной степени, был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое



сходство между Богачем и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль наворачивалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачем его почему-то называли еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгралась. Несколько дней уже стояли морозы, а вчера оттепело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинаяшую промерззть землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал замечать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива...—повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач, не торопясь, начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теп-

лой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады, огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля, и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать, главным образом, именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть—так один страх в ём, в зайце,— рассуждал Богач, продолжая одеваться.—А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, ко-сому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок, на всякий случай, нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось итти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селенью. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клады, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без



опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблоней, слив и вишни. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то, что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чувший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, итти под гору...— говорил Богач смотревшей на него собаке.— Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот пойду по загуменьям да и шагну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в это время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать?—дразнил собаку Богач.—Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селенью, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погода-то, подумаешь!—ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,—ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги.—В такую непогоду и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он, хоть и заяц, а брюхо-то—не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можцо и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подождет свой волчий хвост, гла-



зами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хотя прощенья у него про-  
си,—вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег  
под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он под-  
ходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в  
ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная  
лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из  
третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!..—торжество-  
вал старик, продолжая свой обход.

И удивительное дело,—каждый раз одно и то же:  
уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой,  
а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и  
те же. Ну, побегу он, заяц, в поле,—и конец. Ищи его,  
как ветра в поле. Ан, нет, он норовит непременно к  
себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут  
Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к  
реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему  
навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном  
месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал  
на спине молоденький зайчик и бессильно болтал  
лапками.

— Бери его!.. Кусь!..—закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял,  
в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешиблен-

ной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!..

## II.

— Ну, и оказия!—удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть беззащитного зайчишку.— Эх тебя утораздило, братец ты мой!... а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся.

Но и прирезать было как-то жаль. Уж, если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка,—и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он хромой-то денется? Первый волк его с'ест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору. Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча...—ворчал старик...—Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах, ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку



и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай...—объяснил ему Богач.—Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу...—думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Уж завтра добуду ему свежей морковки да молочка...

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного трепья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его...—угро-варивал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он...

Еремка, вместо ответа, подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

— Ах, ты, оказия,—думал Богач, ворочаясь с боку на бок.—Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем, ведь, глупый еще... несмышлениш...

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах, ты, оказия!..—ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево—похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь, ты, какой важный барин,—корил его старик.—А ты вот попробуй кашки гречушной,—лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка,—наказывал он Еремке.—Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только с'ел у него все угощение,—корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зай-



ца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось с'есть какого-нибудь зайченка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка—когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли,—так все до тла поел.

— Ну, и лукавец!—удивлялся старик.—А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте, как ни в чем не бывало; но когда он облизнулся, вспомнив с'еденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить.

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?!.. Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба...

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за-ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее с'ел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй...

И репка была с'едена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!..—хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку

девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских рученок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай, раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала?

— Как не видать... Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окончевшие ручки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...



Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, де-душка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц,—вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь, совсем глупая девчонка, а, ведь, правду сказала...

— Ишь, ты, какая птаха...—думал он вслух.—И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах, ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика!—просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя, не поместятся в избе, а по одному пускать—выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится,—тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

### III.

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим,—говорил ему Богач.—Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать... Живи с нами, а весной—с Богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся.

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери и, когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлечшись этой игрой, заяц иногда стучался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец,—удивлялся Богач.—По-ребячьи и плачет... Эй, ты, Черное Ухо, ежели тебе



своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не уни-



мался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц лозко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать?— подсмеивался над собакой старик.—Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из с'естного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошки. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их с'едал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног,—и был таков. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле...—посмеялся над ним Богач.—Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюша, не реви. Пусть он побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, де-душка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здо-



ров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой—усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно, Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой вернулся из гостей домой...

Это был, действительно, он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом с'ел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали?—говорил Богач, улыбаясь. — Ах, ты, бесстыдник, бесстыдник... И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко с'ел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах, вы, озорники!—смеялся Богач, укладываясь на печи.—Видно, правду пословица говорит: вместе тесно а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем-свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах, ты, бегун скверный...—журила она его.—Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а, ведь, он все понимает...

— Еще бы не понимать,—согласился Богач,—не бойсь, вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он, вообще, доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту, крадучись, и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сених. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и с'едал потихоньку.



— Что, брат, совестно?—шутил над ним старик.— Оно, конечно, заяц—тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душенка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обростали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно,—объяснял Богач.—По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю,—серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо,—вот и ушел, пострел,—объяснял Богач пригорюнившейся девочке.— Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него с'едим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется,—об'яснял Богач.—Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка...—говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц,—и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости; но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел!—ворчал старик.—Ишь, сразу узнался, косой...

#### IV.

Прошла весна. Наступало лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь, мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, не много дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.



Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет косой...—утешал Богач Еремку.—Вот, погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это, в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да, ведь, это охотники поехали стрелять зайцев!—проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки.—Так, и есть... Ишь, как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют!—повторял старик, задыхаясь на ходу.—Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!!.. Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!.

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать; но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете?—кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да, ведь, в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена...Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо,—пошутил кто-то.—Мы стреляли только своих...

— Ах, барин, барин, не хорошо... Даже вот как не хорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачем и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач,—пошутил еще Терентий.—Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но



он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробежавший мимо заяц—Черное Ушко.

— Да, ведь, Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес...—решил он.— Надо попробовать...

Сказано-сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться...—ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило сразу штук десять.

— Ну, будет Еремке пожива... думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака сбесилась, и только потом понял, в чем дело. Еремка не мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А, ведь, правильно, Еремка, даром, что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше...—коротко об'яснил он.

## „О Н“.

### I.

Что может быть беззащитнее зайца? Это сам страх, страх на четырех ногах... Заяц точно родился только за тем, чтобы бояться целую жизнь. От каждого шороха он чуть не падает в обморок и спасается только бегством. Но и бежит не так, как бегают другие звери, а точно хочет выскочить из собственной кожи... Вообще, существование с нашей человеческой точки зрения самое ужасное и позорное, какое только можно себе представить. Всякое другое животное, как белка, ворона, даже воробей—отчаянно защищают свою жизнь, а заяц даже и этого не делает.

Всего удивительнее то, что у зайца бывают свои скверные дни, точно мало ему обыкновенного страха, а нужно что-то особенное и необыкновенное.

Именно такой день выдался для зайца сегодня.

Начать с того, что он проснулся в дурном расположении духа. Заячье логово было устроено между кочками, в глухой болотной заросли. Сюда никто не мог пробраться, даже охотничьи собаки, которым жесткая болотная осока до крови резала лапы. Заяц начал свой день с того, что поссорился с своей зайчихой. Дело



вышло из-за каких-то пустяков, но это не мешало ссоре принять очень серьезные размеры.

— Уйду я от тебя,—грозил заяц.— Живи с своими зайчатами, как знаешь...

— И уходи,—упрямо отвечала зайчиха.—Обойдемся и без тебя... Вот нашел тоже чем испугать. Пожалуйста...

Собственно говоря, они говорили совсем не то, что думали. Зайчиха очень любила своего зайца, и он любил ее не меньше.

«А, тебе все равно?—думал обиженный заяц.—Хорошо же. Я тебе покажу, каков я есть на самом деле. Опомнишься, да будет поздно».

Нужно было чем-нибудь серьезно огорчить зайчиху, и заяц придумал. Если подняться от болота в гору, где рос лес, а потом спуститься к реке—это чудная прогулка. В болоте и кругом болота росли самые горькие травы, которые можно было есть только по самой горькой необходимости, а там в лесу, по лесным опушкам, а особенно на берегу реки, столько было самой аппетитной еды. Вся беда в том, что в эти заповедные места зайцы приходили кормиться только по ночам и то с большими предосторожностями,—там их ждали всевозможные хищники, начиная с совы и кончая волком. Днем не решались туда ходить даже самые отчаянные зайцы. Все попытки в этом роде кончались самым плачевным образом. Зайцы-смельчаки не возвращались из заповедного леса в свое родное болото... Чтобы досадить своей зайчихе и в конец ее известить, наш заяц и направился прямо в гору.

— Прощай!—крикнул он зайчихе, надеясь, что она ответит ему, броситься его удерживать, начнет упрасивать и плакать.

Но ничего подобного не случилось. Зайчиха сделала вид, что ничего не слыхала. Это коварство подруги возмутило зайца в окончательной форме. Теперь уж ничего больше не оставалось, как только итти вперед. Правда, что заяц страшно трусил, но ведь только страх создает героев. И чем больше он трусил, тем сильнее старался показаться храбрым. Так, вместо того чтобы бежать в густой траве, он отправился открытым местом; вместо того чтобы бежать, он шел шагом, оглядывался, а на самом опасном пункте он сел на задние лапки. Эге, пусть же теперь посмотрят на него все другие зайцы! А у бедной зайчихи, поди, уж давно душа в пятки ушла...

Не успел заяц подумать всех этих гордых мыслей, как в воздухе над самой его головой что-то страшно зашумело, точно сверху упал громадный камень. Это был громадный ястреб, нацелившийся на добычу с страшной высоты. Но заяц каким-то чудом увернулся от ястребиных когтей и стрелой вынесся по горе прямо в лес.

Но тут новая беда. На самой опушке лежал под кустом волк, карауливший какую-то добычу, и заяц со страху перелетел через него, точно им кто выстрелил.

— Вот косой чорт!—обругал его волк, облизываясь.—Даже испугал, проклятый.

А заяц бежал и бежал все вперед, как сумасшедший и боялся оглянуться. Так он перебежал весь лес и очу-



тился на берегу реки. Дальше и бежать уже было некуда. И вперед нельзя, и назад нельзя... Заяц бросился в береговые кусты и со страху заполз куда-то под корни старой ветлы, подмытые речной водой. Он только здесь перевел дух. Два раза он спасся от неминуемой смерти... Ух, как страшно! Собственно, испугался заяц только сейчас, когда сообразил в полном объеме грозившую опасность, и со страха даже закрыл глаза. Ему казалось, что кто-нибудь может подслушать, как бьется его заячье сердце. Вот до чего довела упрямая зайчиха! А ведь стоило сказать всего одно слово, и он вернулся бы в родное болото, к родному гнезду. Положим, болотная трава горьковата, но она все-таки лучше ястребиных когтей и волчьих зубов. Ах, мудрость всегда приходит немного поздно...

## II.

Не успел заяц успокоиться, как услышал такой разговор:

— Положительно здесь пахнет зайцем, живым зайцем,—говорил, спускаясь к реке, волк, нюхая воздух.

— Я ничего не вижу, никакого зайца,—ответил ястреб, летевший над самой травой.—Ты ошибаешься, волк... Действительно, я давеча видел одного зайца, он ловко удрал от меня в лес.

— Это, вероятно, тот самый, который напугал меня. Я закусил парочкой рябчиков и не хочу зайчаткины.

— И я тоже закусил,—ответил ястреб.—Надо отдохнуть.

— Что же, доброе дело...

Ястреб сел как раз на ту самую ветлу, под корнями которой спрятался заяц. Волк подбежал к реке, полкал воды и поздоровался со щукой, которая неподвижно лежала в воде, точно полено.

— Ты, кума, вероятно, тоже закусила?—осведомился волк.

— Было дело,—лениво ответила щука.—Живого утенка проглотила, да двух пискарей. Вообще, ничего, живем помаленьку... А ты как?

— Тоже ничего...

Волк повалился на траве, поискал блох и улегся поудобнее, чтобы вздремнуть после закуски. Он уже закрыл глаз, но потом фыркнул и заворчал:

— Нет, положительно пахнет зайцем... Это совсем особенный запах, с которым ничто не сравнится, особенно когда бываешь голоден.

— Ну его, зайца!—заворчал дремавший ястреб.—У тебя уж такая болезнь, что все зайцами пахнет.

Заячья душа окончательно ушла в пятки. Он не только не смел шевельнуться, а даже простодохнуть. Много скверных минут пережил он в жизни, но подобного положения еще не приходилось испытывать. Наверно, ни один заяц в мире не попадался в такую живую западню... Он поджал лапки, приложил длинные уши к спине и закрыл глаза, стараясь сделаться меньше. О спасении не могло быть мысли, и заяц приготовился к смерти. Больше ничего не оставалось. Теперь он вспомнил еще раз о своей бедной зайчихе и зайчатах, о родном гнезде и понял, что виноват крутом сам. Если



бы не поссорился давеча с зайчихой, если бы не побегал в гору... ну, да что тут говорить! Вообще, не стоит... Зайцу даже начинало казаться, что он уже умер и что вместо него прячется под корнями какой-то другой заяц.

— О чем вы спорите?—вмешалась щука в разговор волка с ястребом.—Зайца упустили? Эх, вы, ротозеи... Небось у меня бы не ушел живой... Раз и готово... У меня никто не вырвется... да... У меня даже и в горле зубы... Нет страшнее зверя, как щука.

— Тоже нашла, чем похвастаться,—засмеялся ястреб.—А где у тебя когти, как у меня? Или такой клюв? Вот уж я вцеплюсь в кого, так не вырвется... Недавно целого ягненка стащил. Поднимусь высоко-высоко, посмотрю оттуда добычу и брошусь камнем... Зайчишек я уж не считаю,—без счета ловлю их... Да... Нет страшнее зверя, как ястреб...

Волк слушал этот спор и только улыбался. Если уж на то пошло, так он и щуку, и ястреба съест в один момент. Страшнее волчьих зубов ничего нет...

— Меня страшнее нет!—сказала щука.

— Нет, я страшнее!—сказал ястреб.

— Какие вы глупые: всех страшнее я... Вот какие зубищи! Как ухвачу, никто не вырвется. Так и люди говорят про меня: волк *зарезал*. Меня все боятся... Если сосчитать, сколько я погубил зайцев, овец, телят, коров, лошадей—нет, и самому не сосчитать. Да... гм... а все-таки, господи, зайцем пахнет... Вы слышите?

— У тебя это помешательство, — успокаивал

ястреб.—Какие тут зайцы... Если бы был заяц, так давно бы умер от страха.

Заяц, действительно, едва был жив. Очень уж приятный разговор... А тут еще привязался новый хищник,—это был паук. Он все время слушал спор и мотал свою паутину, а потом спустился на тонкой паутинке и проговорил:

— Господа, о чем вы спорите? Дело ясно само собой.. Страшнее и злее меня ничего нет на свете. Вы только подумайте, если бы я был ростом с ястреба... Посмотрите, какие у меня лапы, какие челюсти—все вы младенцы предо мной. У меня зубы даже на лапах... О, всем вам далеко до меня! Я... я...

Все это было до того страшно, что заяц уже начал чувствовать, как умирает. Он закрыл глаза и мысленно простился со всем, что оставалось дорогого в родном болоте.

— Я, господа...—продолжал паук,—у меня...

Но ему не довелось кончить речи, потому что ястреб предупредил:

— Тсс... Он!

Все хищники сразу присмирели и затаились.

Он, действительно, был тут, совсем близко. Это было преотвратительное, совсем голое животное... Всего отвратительнее было у него голое лицо, особенно когда он смотрел в упор своими глазами. Никакое животное не могло выдержать этого взгляда. А самым страшным у этой голой твари была способность улыбаться... И сейчас он стоял на опушке леса, смотрел на реку и





улыбался. Волк начал пятиться со страху, пятился, пятился, и провалился в яму, в которой сидел заяц.

— Э, брат, вот отчего пахло все время зайцем,— проговорил он и прибавил:—Пожалуйста, не шевелись... Я закусил и не трону тебя. Пусть *он* пройдет...

Заяц осмелился спросить:

— Кто он?

— Ты не знаешь? Он — человек... О, это самый страшный из всех зверей!

Через минуту ястреб уже свалился с дерева, пронзенный стрелой; волк хотел убежать, но его догнал камень, брошенный из пращи. Еще немного,—и щука была вытащена на берег. Тогда заяц выполз из своей норы и сказал пауку:

— Ну, теперь я ничего не боюсь, потому что ничего страшнее не увижу!



## Кормилец.

(Из жизни на Уральских заводах).

### I.

Маленький Прошка всегда спал, как убитый, и утром сестра его Федорка долго тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза.

— Вставай, отчаянный!—ругалась Федорка, стаскивая с полатей разное лохмотье, которым закрывался Прошка.—Оглох, что ли: слышишь свисток-от!..

— Сейчас... Привязалась!—бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний угол.

— Маменька, что же я-то далась... каторжная, что ли?..—начинала жаловаться Федорка, слезая с приступка.—Каждый раз так-то: дрыхнет, как очумелый...

— Прошка... а, Прошка!..—криливо начинала глосить старая Макаровна и лезла на полати с ухватом.—Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прошка, отчаянный, вставай!.. Ну?.. Ишь, куды укатился!..

— Мамка, я сейчас...—откликался Прошка, хватаясь за рога ухвата обеими руками.

— Да ты оглох, в самом деле: слышь,—свисток-от насвистывает... Федорке итти надо, не будут свистеть для вас другой раз!

Заводский свисток, действительно, давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прошку прямо за сердце. На полатах было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел, а тут—вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику...

Пока происходило это пробуждение Прошки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прошка всегда видел сестру одетой и удивлялся, когда это Федорка спит!

— Не дадут и выспаться-то...—ворчит Прошка, слезая, наконец, с полатей и начиная искать худые коты <sup>1)</sup> с оборванными веревочками.—Руки-то поди, болят... вымахаете за день-то. Мамка, дай поесть...

— Одевайся, нечего растабаривать, на заводе поешь!—торопила Прошку мать.—Ишь, важный какой... Разве один ты на заводе робишь?... <sup>2)</sup> Другие-то как?..

— Другие...—повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать в свое оправдание, и только чесал скатавшиеся волосы на голове.

Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она, молча, начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и

---

<sup>1)</sup> Коты—кожаная обувь вроде тяжелых ботинок.

<sup>2)</sup> Робить—работать. Так говорят в Пермской стороне.



чувствовал, как его давит смертный сон. Кажется, умер бы вот тут сейчас, только не итти на эту проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк...

Но Федорка никогда не жаловалась, и все у ней как-то горело в руках, и Прошке делалось совестно перед сестрой: все-таки он, Прошка, мужик!

Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка, но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светившихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке так, точно она была пришита к ее крепкому, молодому телу. Рядом с сестрой Прошка, в своих больших котах и раз'езжавшемся кафтанишке, походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазками. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, которой не мог отмыть даже в бане.

— Ну, совсем?..—ворчала Федорка, когда одевание кончилось.—Уж второй свист сейчас будет. Другие-то девки давно на фабрике, поди, а я вот тут с тобой валандалась...

— Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые...—грубо говорил Прошка, заранее ежась от холода, который ожидал его на улице.—Мамка я есть хочу...

— Ладно, там дам, как придем,—говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком.

Марковна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику, а потом, когда они уходили, заваливалась на полати спать... Ленивая была старуха, и как-то всякое дело валилось у нее из рук. Она постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет пять тому назад.

Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод и зимой, и летом. В пять часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и, чтобы поспеть за нею, Прошке приходится бежать вприпрыжку... Он понемногу согревается, а ночной холод прогоняет детский крепкий сон.

## II.

Избушка Марковны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики от нее было с версту. В избах кое-где мелькали огни, везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени... По дороге, то и дело, скрипели отворявшиеся ворота, из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. «Дровосушки» (так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах) хохотали еще больше и начинали дразнить Прош-



ку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику, с болтавшимися на руках вачегами и запасными прядениками <sup>1)</sup>.

Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченных заводской сажей воротах караульни. Глухой сторож, Евтихий, выглядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал, а рабочие спускались по крутой деревянной лесенке вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек, и около него толпились рабочие в кожаных фартуках—защитках.

Федорка провожала братишку до самого «пожога» <sup>2)</sup>, где он «бил руду», т.-е. большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два дворика: в одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом—ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев.

---

<sup>1)</sup> Вачеги—подшитые кожей рукавицы; пряденики—пеньковые лапти.

<sup>2)</sup> Пожог—часть завода, где обжигают руду.

Оставив братишку в пожоге, Федорка торопливо уходила к дровосушным печам,, где крикливо гудела целая толпа поденщиц-дровосушек, точно стоя галок.

### III.

Собравшись в пожоге, мальчики начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска.

Их было человек пятнадцать, от 10 до 14 лет. Около костра образовалось живое кольцо из чумазных лиц, торопливо прожевывавших свою утреннюю порцию.

Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро с'едал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась, не евши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все с'едает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть...

— Эй, вы, соловьи, чего расселись,—пора на работу!—кричал на мальчиков дозорный Павлыч.—Жалование любите получать!..

Рудобойцы расходились по пожогу, к своим кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто наробил. Все робили из поденщины, по десяти копеек.

Тяжело было приниматься за эту несложную ра-



боту, и Прошка всегда чувствовал, как у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожог было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц.

Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой; спина и руки помаленьку отходили.

Ай да молодцы!.. Похаживай веселее!..—выкрикивал главный доменный мастер, Лукич, приходивший посмотреть,—ладно ли ребята крошат «крупку на кашу старухе»? «Старухой» он называл доменную печь.

Лукич, широкоплечий, бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волынке, когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожог, выкуривал трубочку возле огонька, шутил с ребятами и уходил к своей «старухе».

В пожог работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам... Другие ребята думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам.

— Нет тяжелее нашей работы,—толковали мальчишки, делая передышку.—Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая... Едва встанешь на другой раз...

— А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит...

— Уж это что говорить: известное дело,—ходи себе с тряпочкой да масло подтирай; вся твоя работа, а поденщина та же.

— В тепле, главное.

— Страсть, как тепло! Пар из машинной так и валит, двери отворишь!

Попасть в тепло, куда-нибудь к «машине», казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребяташек. Да на хороших местах перебивались отцовские дети, а гольтибу не пустят... Вон у дозорного Павлыча сын там ходит, тоже у плотинного, у машиниста.

Дети завидовали счастливым и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук.

Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое.

Время до одиннадцати часов, когда «отдавали свисток» на обед,—было самое тяжелое, точно и конца ему нет.

В одиннадцать часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину, из ворот Евтихия, выпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела; им приносили обедать на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой.



Когда-то Федорка также носила отцу обеды на фабрику, а потом—Прошка. Отец работал в главном корпусе, у обжимочного молота, и обедал тут же, присев на чугунный «стул». Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи; где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью, рабочие ходили с запеченными красными лицами, где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озибался по сторонам.

— Испужался, Прошка?—спрашивал отец, пережевывая кусок лукового пирога или облизывая деревянную круглую ложку.

Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, длинные руки... Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом,—это сходство было поразительное: настоящий медведь и только! По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет.

Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем.

Иногда Прошке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие «поужинали», мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели об-

литые потом фигуры мастеров, а около них толкались маленькие девочки с бураками и узелками. В корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прошка долго наблюдал, как ужинает главный мастер у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прошки, а сам Прошка стоял и смотрел на него.

«Вот, буду большой, тогда сам в мастера пойду»...—соображал мальчик и видел себя в мягких прядениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца.

Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику.

В половине первого отдали свисток на работу, а в семь вечера—с работы.

На смену дневным явились ночные рабочие.

Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем; железные трубы дымили сильнее и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки...

Вся заводская жизнь строилась по свистку, и Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое и притом очень злое: вырвется белая струйка пара, и загудит на весь завод, только стон пойдет...

#### IV.

Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Макаровна стонала с осени,—как это мальчонко будет робить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни валенок, ни хороших варежек!



— И то прохворал прошлую-то зиму недель шесть,—говорила Макаровна.—Уж хоть бы он помер, што-ли... не глядели бы глазыньки на ребячью маету!.. А много ли заработит и с Федоркой вместе: ей двутривенный поденщины, да Прошке—гривенник... В выписку <sup>1)</sup> дён двенадцать приходится; ну, и принесут домой три рубля шесть гривен. Немного уколешь на них... Вон ржаная-то мучка восемь гривен пуд; крупа, горох... а тут обуть надо, одеженку справить!..

— Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось?—отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа.—Вот погоди, Прошка подрастет, тогда справимся...

— Сам-то, когда был в живности, так по пятнадцати цалковых приносил домой в выписку!—не унималась старуха.—Легкое дело сказать... Крупчатку покупали к Пасхе, говядину; на все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются, а нам без смерти смерть...

Макаровна была из зажиточной семьи и прожила с мужем лет пятнадцать в полном довольстве, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Макаровна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестрядину, а теперь и от этой работы отбилась,—не на что было купить льна, и пустые «кросны» стояли в сенцах. Вообще, самая горькая нужда обошла семью Пискуновых

---

<sup>1)</sup> На горных заводах плата рабочим выдается через две недели; это называется выпиской.

со всех четырех углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В пять лет вдовства Макаровна успела поразмотать все, что было нажито с мужем: лошадь, корову, хорошую одежду, два покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и т. д. Нужно было пить-есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили... Только вот Федорка попала на фабрику!.. Да быть иначе нельзя: не с голоду помирать.

— Ты смотри, Макаровна, пуще наказывай дочерито, чтобы она не избаловалась,—шушукали соседки.

— И то наказываю...

По силе возможности, Макаровна, действительно, «наказывала» дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала огрызалась и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать: какая эта жизнь? Работаешь, бьешься, не доедаешь, не допиваешь, а в люди глаза показать не в чем, да тут еще мать пристает... У Федорки все платишко было на себе, да плохонькая «перемывочка», т.-е. разное тряпье, которое надевалось во время стирки Федоркиного сарафана: рубаха и юбочка с «подзором». Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой—на супрядки или на вечерки. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди в своей заводской саже. Мать понимала ее положение, но помочь не умела... Да и чем тут поможешь, когда, при дорогом заводском харче, троим приходилось тянуть две недели на 3 руб. 60 коп.? Только-только на хлеб едва хватало да на крупу.



Была у Пискуновых всякая родня, но ведь родные хороши только в богатстве да в достатке, а при бедности больше любят указывать: и то не так, и это не так, и пятое-десятое неладно. Макаровна везде по родне успела назанимать всячины,—конечно, крохами—и терпеливо выслушивала хорошие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью.

— Без них тошненько!..—отвечала она обыкновенно пристававшей матери.—Сажу свою заводскую пойду казать им, што ли?..

К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему пимы <sup>1)</sup>, шапку, шубенку?.. Ведь, это ежели считать, так рублей на семь хватит, да еще и не укупишь на семь-то, потому и варежки нужны двоим на зиму-то, и рубаха, и порты...

Иногда Федорку просто брала какая-то одурь от этих расчетов; ей наяву начинали грезиться роковые семь рублей: она с открытыми глазами видела две трехрублевых зелененьких бумажки и одну желтенькую рублевку... Часто глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их,—как три бумажки лежат завязанные в уголок платка и тянут ее к себе. Вон у Лукича, сказывают, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по пятнадцати...

---

\*) Пимы—валенки.

Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома, и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое.

Всех девок на дровосушных печах работало человек двадцать. Все были залеплены несмывавшейся сажей, и все были такие отчаянные... Федорка крепилась, держалась поодаль ото всех: ее удерживало воспоминание о хорошей жизни с отцом,—чего не было у других. Стыд перед родней являлся тоже сдерживающей силой, опять у других и впереди не было надежды выбраться с завода, а Федорке думалось:

«Вот бы только вырастить Прошку: опять будет «кормилец» в доме, я уйду с завода...»

## VI.

А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпадал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решить вопрос о Прошкиной одежде. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз всплакнула.

Раз в углу темной дровосушной ее увидел вихлястый Антошка,—Федорка прижалась в угол и тихо всхлипывала, как плачут дети.

— Федорка, да ты это што?—удивился Антошка,—о чем это ревешь-то?..

— Отвяжись.

Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Федорки. Федоркино



безмолвное горе тронуло его, он не умел даже расспросить ее толком, о чем она ревет, и стоял, как пень.

Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике третий год и еще ни от кого не слыхала доброго слова и не видала искреннего участия. Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накипело на душе, и она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал в затылке и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку: разве она к деньгам приговаривается?.. Федорка тяжело замолчала.

— Постой... А ты вот что, Федорка,—обрадовался неожиданно Антошка:—мы дело и без шубы сварганим... верно!.. И без пимов, и без шубы Прошку приспособим...

— Мели пуще, пустая голова!

— Верно говорю: надо его, Прошку-то, в машинную определить. Ей богу!.. Это уж Павлыча дело. Попроси его...

— Не пойду я к Павлычу,—ничего он даром не делает!

— Ах, какая ты, Федорка! Ну, я Павлычу замолвлю словечко для тебя... Харюза <sup>1)</sup> ему представлю и замолвлю...

Когда Федорка вышла из печи, замазанная потоками слез, все дровосушки покатались над ней со сме-

---

\*) Харюз—рыба.

ху, но она ничего не замечала; ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек...

## VII.

Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое теплое,—в машинный корпус. Устроилось это так, как говорил Антошка: принес он с поклоном живых харюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркиного брата, Прошку, который околевал с холоду на пожоге.

— А ты что больно кручинишься за парнишку?—спросил Павлыч, не подавая никакого вида.

— Да так... вместе с работы ходим, так оно видно, как парнишка, значит, на холоду гинет.

— Так, так... Ну, поговорю я с плотинным да надзирателем; может, и выгорит што...

От дозорного дело перешло к уставщику, от уставщика—к плотинному, от плотинного—к надзирателю, надзиратель посоветовался с записчиком поденных работ, и, в конце концов, Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холщевые блузы, замазанные ворванью и машинным маслом.

Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая сравнительно с битьем руды.

— Ну, хорошо тебе теперь?—спрашивала Федорка брата.



— Уж так ловко, Федорка!.. Только больно утром сон долит... Смерть долит сон, потому теплынь у нас.

— А ты не спи... слышал?

— Тоже вот есть больно охота, Федорка...

— Ну, старайся!

Федорка была очень весела весь день, она все думала о том, как лет через пять Прошка будет совсем настоящий рабочий, и тогда они заживут, как при покойном отце... Может, и жених выищется...

От тепла и легкой работы мальчик за зиму заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами.

— Мне, мамынька, теперь хорошо робить!..—хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку.

— И слава богу, а ты старайся... потрафляй, Прошенька.

— Я, мамынька, и то стараюсь!..

Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке «отдать свисток»; мальчик был в восторге, поворачивая кран: пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был в восторге, точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с неудовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие дети. Иногда он для развлечения забегал на пожар посмотреть, как маются старые приятели. Маль-

чки смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть его хорошенько при случае.

### VIII.

Только с одним никак не мог помириться Прошка: в тепле он просто «мдел» ото сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезть и лягушке, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работавшей машины.

— Эй, ты куда залез?—кричал машинист, задавая Прошке приличную встрепку.—Вот, ужо, попадешь в ремень или в шестерню куда, так наотвечаешься за тебя.

Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом.

Раз ему машинист поручил наблюдать какой-то клапан у паровика,—ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром.

Дело было ранним утром. Прошка крепился, сколько мог, и кончил тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой, сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба, и





его без памяти привезли домой в таком виде, что Макаровна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно...

Приехал заводский фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.

— Родимый мой... голубчик... Один, ведь, он у меня!—голосила Макаровна, валяясь в ногах у фельдшера.

— Что же делать: сам виноват... Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может, и поправится.

— Да вед мальчонка!.. Еще велико ли место! С кого взыскивать-то!.. И большой заснет в другой раз...

— Это уж не мое дело.

Дня через три Прошка как-будто немного отошел и начинал говорить, Федорка и Макаровна не спали над ним ночей и думали, что он поправится.

Но эта надежда не сбылась: болезнь повернула круто назад и Прошка опять впал в забытие и просыпался только затем, чтобы бредить.

Больше всего его беспокоил фабричный свисток: как только загудит,—больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой, искал шапку и свои коты.

Особенно была страшна последняя ночь.

Уставшая Макаровна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шопот больного:



— На фабрику... скорее... слышишь?..

Действительно, гудел свисток, сзывая на работу...

Вскочила Федорка, взглянула на Прошку, а он и дышать перестал.

---

Со смертью Прошки у старой Макаровны не осталось больше никакой надежды...

Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины.

Так и сгинула вся семья.

---

## Дорогой камень.

Рассказ.

### I.

По зимам бабушка Антиповна любила погреться на теплой печке. Днем она бродила по дому, а как сумерки, сейчас на печь. Заберется в тепло старушка да еще укроется старой шубейкой и начинает завидовать, лежит и всем завидует. Вон у других-то все хорошо, все спорится, всего много, а у нас и того нет, и этого нехватает, и пятого-десятого недостает. Лежит старушка и по пальцам высчитывает разные недостатки.

— Вон у кумы Матрены какая заячья шубейка выправлена, то-то теплая да легкая. В самый бы раз мне такую-то шубейку. Вышла бы на улицу, присела на завалинку... И людей бы посмотрела, и словечком перекинулась, а теперь только и всего ходу, что с печи на полати.

Потом бабушка припомнила, что у соседа Егора новую баню поставили, а за рекой, у свата Трофима, купили третью лошадь. «Вот у нас так всего-то одна лошадаенка, да и та ничего не стоит, ежели правду говорить; потом службы надо бы поправить: амбар ва-



лится, сено гниет от худой крыши»... Все привыкли к ворчанию старушки, и никто с ней не спорил, а дед Степан все поддакивал:

— Так, так, старуха... Все надо завести: и лошадь, и заячью шубу, и крышу новую. Мы уж этак все сообразим. Ты еще про кисель забыла; ведь любишь кисель есть?

— Уж какой у нас кисель,—жалобным голосом отвечала с печи баушка.—Хлебушка есть, и то славу Богу.

Семья Четвериковых была небольшая: старик со старухой, старший сын Иван с женой, вдовая дочь Акулина с ребятами да подросток Никита, сын Ивана, мальчик лет двенадцати. Настоящих работников в семье был один Иван, а за столом садились сам-восемь. Трудненько приходилось семье, но голодом пока не сидели. Все дело было в том, чтобы поднять ребят на ноги, а тогда уж все пойдет по-другому. Богатство каждого крестьянского дома—в его живой, рабочей силе, а одному Ивану трудно было управляться, и хозяйство шло так себе. Хорошо тем семьям, в которых три-четыре работника,—тут всякая работа спорится, а один работник—все равно один!..

Большак Иван не отличался разговорчивостью, да и некогда ему было разговаривать. В избу он приходил только есть и спать. Маленький Никита уже во многом помогал отцу и постепенно усваивал отцовский характер.

Раз, когда баушка Антиповна особенно разворчалась, мальчик тоном большого человека ей заметил:

— Што-то, баушка, все-то ты жалуешься? А ведь это грешно... Слава богу, и сыта, и одета, и лежишь в тепле, чего же тебе еще нужно?

— Верно, Никишка,—похвалил отец.—Да, правильно...

— Верно-то оно, верно,—заступился за баушку дедушка Степан:—а только и верное слово тоже к месту говорится... Да и яйца курицу не учат... Ты это помни, Никишка.

Старик любил свою старушку, и ему было обидно, что внучек, по ребячьей глупости, оговорил баушку, а сын Иван его же еще хвалит. Не дело это, когда старших не уважают. Конечно, иногда старуха и напрасно ворчит, так все уж старухи одинаковы. Дедушка Степан даже пожалел, что не надрал Никишке висков. Даже вот бы как следовало.

В общем, семья жила дружно, без семейных ссор и неприятностей, за исключением выживавшей из ума баушки Антиповны, которая время от времени начинала заговариваться. Ей точно во сне мерещилось какое-то неосуществившееся богатство, какая-то другая жизнь, и ее ворчанье волновало других, хотя все и знали, что старуха иногда и заговаривается, как будто не от ума.

Сына Ивана баушка Антиповна как-будто немного побаивалась, а когда его не было, заводила свои речи. В последнее время у нее только и было разговора, что о «струганцах», как называли крестьяне кристаллы горного хрусталя, полевого шпата, раух-топаза, аметистов и других драгоценных и полудрагоценных пород;



в этих случаях она обращалась почему-то непременно к внучку Никите.

— У нас в Мурзинке сколько народу от струганцев хлеб ест,—наговаривала старушка.—И не то што мужики, а и бабы, и малые ребята. Тут уж Господь кому пошлет какое счастье... Мужик-то и силен, камни ворочает, а счастье-то в другой раз младенчику подвернется. Вон у кузнеца Евтиха девочка какой аметист нашла. Ей-то заплатили десять целковых, а потом, сказывают, в городе продали камень-то за четвертной билет. Вот это какое дело!.. Ну-ка, заработай десять-то целковых. Другая баба целую зиму бьется над пряжей да над тканьем, а того не будет.

Маленького Никиту эти разговоры о струганцах волновали. А в самом деле, если бы найти аметист или тяжеловес? В Мурзинке многие занимались этим делом в свободное зимнее время, особенно в Великом посту. И многие находили хорошие камни. Разговора о таких счастливицах было достаточно, при чем молва, конечно, преувеличивала ценность каждой находки в несколько раз, что доходило иногда до смешного. Но отец Никиты никогда и слышать не хотел о том, чтобы заниматься добычей струганцев.

— Это не работа, а одно баловство,—объяснял он коротко.—Ежели я всякую другую работу буду работать, у меня всегда верная прибыль, а тут один нашел, а десять даром землю рыли. Какая же это работа?

Степенный мужик Иван не любил слушать и разговоров о струганцах, как пустую и вредную болтовню, и баушка Антиповна при нем старалась не говорить о

камнях. Для нее был праздник, когда заходил к ним Лукич, дальний родственник. Он всегда приносил какую-нибудь интересную новость. Это был коренастый черноволосый мужик, лет пятидесяти. Он всегда входил в избу, как-то крадучись, точно боялся чего; Иван его не любил, как человека, по его мнению, пустого и легкомысленного, который, время от времени, отбивался от настоящей крестьянской работы. И бабушка Антиповна частенько ворчала на него, но не могла сердиться. Лукич знал, кажется, решительно все на свете и приносил самые последние новости. Лукич был помешан на струганцах и всю жизнь мечтал о том, как он найдет такой камень, что сразу разбогатеет.

— Ведь тут все дело в счастье,—объяснял он, повторяя одно и то же тысячу раз.—Как нашел камень, и конец. А там уж пойдет все само собой, как по маслу.

У Лукича всегда было на примете какое-нибудь самое верное местечко, которое должно было его обогатить, но каждый раз что-нибудь мешало, обыкновенно, самые пустяки: заяц через дорогу перебежал, женщина попалась навстречу и т. п. Лукич в последнее время начал обращаться за советом к разным знахаркам, что стоило ему не дешево.

— Тут спроста ничего не поделаешь,—объяснял Лукич каждую новую неудачу.—Все, брат, от ума...

— Вот у тебя разума-то и нехватает,—шутил над ним Иван.

— А вот погоди...



— И то ждем...

— Теперь-то вам смешно, а как бы я над вами не посмеялся. Да...

## II.

Село Мурзинка давно получило известность и даже славу, как место добычи драгоценных камней. Оно расположено на восточном склоне Урала, хотя и в значительном отдалении от главного горного массива. Настоящих гор здесь уже нет, а встречаются только отдельные холмы, ничего особенного по своему внешнему виду не представляющие. Кругом стелются крестьянские нивы, поля и покосы, отдельные лесные островки попадаются только изредка, и в общем получается одна из тех мирных земледельческих картин, которых в губерниях средней полосы России сколько угодно. А между тем, Мурзинка известна всему свету, благодаря своим «самцветам» и «струганцам», какими она снабжает всю Европу уже более ста лет. Особенной славой пользуются мурзинские аметисты и благородные топазы (тяжеловесы) цвета морской воды, а затем идут бериллы разных цветов, турмалины (по местному—шерл), раухтопазы и горные хрустали. Но, кроме Мурзинки, все эти камни добываются и по другим деревням, как Южакова, Сарапулка, Алабашка, Корнилова и Сизикова. За Мурзинкой, все-таки, до сих пор остается главная слава, и в торговле особенно ценятся именно «мурзинские камни», хотя добывается их уже около Мурзинки с каждым годом все меньше и меньше.

Всех дворов в Мурзинке насчитывали около двухсот. Они расположились по правому берегу р. Нейвы; на другом берегу было тоже несколько изб. Место, в общем, довольно красивое, особенно левый берег, где высилась лесистая горка Тальян. Эта горка получила свое название от мастеров-итальянцев, которых в прошлом столетии русское правительство прислало в Мурзинку для разработки копей драгоценных камней. И сейчас еще кое-где сохраняется название «тальяшки», как называли крестьяне все камни, разыскиваемые итальянскими мастерами. Работы на горе Тальян с перерывами ведутся и по сейчас. Нет-нет, и пройдет, неизвестно откуда, слух, что на Тальяне нашли новую «жилу», и все охотники до легкой наживы бросятся туда. Эта гора Тальян в народном воображении приняла характер какого-то заколдованного, таинственного места, где счастье давалось в руки только счастливым избранникам.

— Нет, брат, она, гора, вот как заморожена,—уверял всех Лукич.—Не всякого пустит... Тысячи человек пройдут и ничего не увидят, а один человек пошел, и все нашел. Особенная гора...

Маленький Никита верил этому безусловно, хотя летом с другими ребятами постоянно бегал на Тальян отыскивать по старым отвалам забытые рабочими струганцы.

Как добывание драгоценных камней, так и торговля ими носили совершенно случайный характер. Все дело велось на авось, за исключением двух-трех мужичков из деревни Южаковой, которые торговали камнями



постоянно. Эти хитрецы скупали камни дома за бесценок, а потом увозили их в Екатеринбург и продавали каменным мастерам. Лукич завидовал им, и пробовал сам расторговаться, но его опыты в этом направлении кончились плохо, хотя он и не терял надежды. Причина всех неудач, по мнению самого Лукича, заключалась в том, что у него не было наличных денег для покупки товара, а приходилось брать у знакомых мужиков в долг.

— Ежели бы я на наличные брал товар, так и поставил бы цену, какую захотел,—об'яснял Лукич.—Вон южаковские скупщики так и делают: дома-то купят за двутривенный, а в городе продадут за два цалковых. Очень даже понимаем... И я бы так-то делал, кабы деньги. А теперь мне мужички ставят цену, какую захотят, а там уж и наживай как знаешь.

— Ты деньги сперва копи,—смеялся Иван.—Южаковские-то тоже когда-нибудь с грошика расторговались.

— Знаем мы, как они расторговались,—сердился Лукич.

— Знаешь, да, видно, плохо,—поддразнивал Иван.—А по моему, жадности в тебе уж очень много, вот дело и не клеится. Ты все сразу хочешь разбогатеть, а ты делай наоборот, потихоньку да полегоньку. Тихий воз будет на горе...

— Я не умею?—злился Лукич.—Сделай милость, еще других поучим, как на свете жить. Утрем нос южаковским мужичкам.

Собственно говоря, Лукич имел полную возможность повести дело не хуже других, но, попав в город и продав удачно несколько камней, он с радости начал кутить, и пропивать не только свои барыши, а и чужие камни. Об этом он не рассказывал дома, а говорил, что его обокрали дорогой. Доверявшие свой товар мужики в следующий раз уже не давали Лукичу ничего, да еще прибавляли:

— Нельзя тебе торговать, Лукич, потому, как уж очень городские воры тебя полюбили...

— Братцы, да я... Вот сейчас провалиться!—клялся Лукич, неистово колотя себя в грудь и бросая свою рваную шапку оземь.—То-есть, кажется, я ли не старался для вас же!..

В последний раз с Лукичем в городе вышла совсем скверная история, из-за которой он чуть-чуть не попал в тюрьму. Дело в том, что его научили ходить по гостиницам, где останавливались проезжающие, и продавать вместо камней граненые цветные стеклышки. Сначала дело, было, пошло, а потом Лукич попался: пожаловалась «проезжающая барыня», купившая стекло за драгоценный камень, и Лукич должен был бежать. Теперь ему нельзя было и глаз показать в Екатеринбург.

Об этой истории в Мурзинку дошли темные слухи, но хорошенько никто ничего не знал, и над Лукичем даже не подшучивали. При продаже драгоценных камней дело не обходилось без плутней. Обманывали и продавцы, и покупатели, и это как-то вошло даже в обычай.



— Хорошее дело, нечего сказать,—язвил Иван.— Только и живете плутовством.

— «Не обманешь, не продашь», говорится пословица,—оправдывался Лукич.

— От плутовства, все равно, толку не будет...

В последнее время Лукич поневоле принужден был отказаться от мысли быстрого обогащения в городе и довольствоваться тем, что мог добыть у себя дома. Камни обыкновенно добывались в свободное от крестьянской работы время, т.-е. зимой, главным образом, в Великий пост. Городские скупщики драгоценных камней, конечно, знали это, и начали приезжать на место добычи камней сами. Лукич ловил их где-нибудь на дороге и тащил к себе в избу.

— Уж я вам предоставляю все вот как,—клялся он на все лады.—Уж я-то знаю достаточно насчет самоцветов. Побольше всех других протчих.

Получалась двойная выгода и от постоя, и от продавцов. Не все знали толк в камнях, и Лукич пользовался случаем то там, то здесь.

— Уж, кажется, я стараюсь для всех!—объяснял он.—В ножки должны мне кланяться, ежели говорить настоящее. Да ежели бы мне деньги, то я бы, кажется, не знаю, что сделал... да. Тогда бы вот как за мной ходили все...

Нужно отдать справедливость Лукичу, что он каким-то чутьем угадывал, когда кто-нибудь находил хороший камень, и являлся первым покупателем. Счастливый находчик, обыкновенно, скрывал от всех свою радость и делал вид, что не понимает, о чем заговари-

вает Лукич. Происходила маленькая комедия, которая заканчивалась так:

— Да ты-то о чем хлопочешь, Лукич? Ведь, денег у тебя нет,—значит, только время даром теряешь.

— Деньги?! Тьфу!—вот что такое деньги. Прямо сказано: не с деньгами жить, а с добрыми людьми... А нужно денег,—сейчас найдем, сделай милость.

— Не положил,—не ищи, Лукич.

Но отвязаться от Лукича было довольно трудно, и он, так или иначе, добивался своей цели и, как говорил, «высватывал» камень.

### III.

Зима вышла тяжелая. Сначала долго не было снегу, а потом стояли ветры, сдувавшие падавший снег с полей. Это была плохая примета. Старики покачивали головами, предсказывали неурожай. Да и прошлое лето хлеб родился не совсем хорош, и не у всех хватило его даже до весны, как у Четвериковых. Целую зиму велись невеселые разговоры о хлебе. Ивану пришлось искать работы где-нибудь на стороне, и он вскоре после Рождества нанялся возить дрова в Петрокаменский завод. Надо же было как-нибудь жить.

Дома оставались только женщины, старики и дети. Во всей Мурзинке не горевал один Лукич.

— У меня урожай о Великом посту,—хвалился он.— Вот ужо приедут екатеринбургские скупщики,—у Лукича и хлеб. От нас еще останется...

Лукич попрежнему заходил к Четвериковым и все толковал о самоцветах. Теперь некому было спорить с



ним, а дедушка Степан только вздыхал и качал головой, слушая болтовню Лукича.

— Что же, пожалуй, ты лучше других обернешься,—заметил Лукичу старик,—нынче вот как будут мужички камни обыскивать. Всякий есть хочет.

— Вот то-то и есть, дедушка. Хочешь, я тебе одно местечко укажу. Вот какие самоцветы обыщем: отдай все и мало. По рукам, что ли?

Дедушка Степан долго не решался, потому что придет Иван, узнает все и посмеется над стариком. Но, с другой стороны, донимала баушка Антиповна, которая день и ночь пилила:

— Вон Ермиловы нашли тяжеловес рублей на двадцать,—повторяла она со слов Лукича.—У Суминых девка нашла огромный аметист... Кривой Егор за рекой нашел тоже, да не рассказывает. Мало ли людей от самоцветов хлеб едят.

Лукич, с своей стороны, хлопотал о том, чтобы вытащить на работу маленького Никиту. Ему сказала какая-то гадалка, что счастье ему найдет «младенец», и таким младенцем для Лукича сделался Никита. Другие ребята как-то не подходили, а этот в самый раз. Лукич очень внимательно всматривался в свежее личико Никиты, пухлое еще детской полнотой, в его светлые детские глаза, и про себя решил, что это и есть самый настоящий младенец. Вот только бы уломать упрямого старика.

Наконец, дедушка Степан сам сказал Лукичу.

— Но где у тебя спрятаны самоцветы-то? ужь ведем... Только уговор, чтобы никто не видал.

— Да уж сделай милость, комар носу не подточит. Я-то вперед уйду по дороге на Тальян и подожду за леском, а ты с Никитой будто за дровами. Возьмите сачочки, топорикшко, ну, а настоящую снасть я уже приготавливаю сам.

Дедушка Степан, против ожидания, не стал спорить относительно Никиты. Оно еще, пожалуй, и лучше для отвода глаз: поехал старик с внучком в лес за дровами, только и всего.

— Дома-то, смотри, никому ни гу-гу,—наказывал Лукич.—Особливо, чтобы бабы как-нибудь не пронюхали. Все дело тогда брось... У меня сколько таких-то случаев бывало, очень хорошо понимаю, что и к чему.

Как все искатели камней, Лукич отличался суеверием. У него на всякий случай была своя примета, а большинство примет, как известно, не к добру. Дедушка Степан тоже верил в приметы и знал, что хорошо и что худо.

— Ну, меня-то ты не учи,—заметил он Лукичу обиженным тоном.—Пожалуй, побольше тебя понимаю...

— Да я ведь дедушка, так, к слову...

Старик с вечера сказал дома, что утром с Никитой пойдет в лес за дровами...

— Да ведь у нас есть дрова,—удивилась жена Ивана.

— Теперь есть, а потом не будет,—сердито ответил старик.

Из всей семьи одна баушка Антиповна догадывалась, в чем дело, и это огорчало дедушку Степана. Старуха



молчала и не подавала вида, что понимает что-нибудь. Она знала мужицкие приметы. Утром, когда дедушка собрался в дорогу, она притворилась, что спит.

«Ох, дал бы Господь удачи,—думала она.—Вон другие-то как деньги обирают».

Дедушка поднялся рано, чтобы выйти на дорогу до свету. Никита был рад итти в лес и собрался живо.

— Ну, идем...—торопил старик.

Они вышли из дому, когда еще было темно. Дедушка шагал вперед, а Никита шел за ним, таща за собой «дровешки», как называют на Урале маленькие сачки. Кое-где в избах уже светились огоньки, это затопили бабы свои печи. Дедушка несколько раз оглядывался, когда шли по улице. Было холодно, и снег хрустел под ногами. Потом дедушка повернул под гору, к реке Нейве.

— Мы это куда?—спросил, начинавший зябнуть, Никита.

— А в лес...—угрюмо ответил старик.

Была вторая неделя Великого поста, и уже наворачивались ясные солнечные дни, когда крыши у домов обросли ледяными сосульками. Зимняя дорога днем делалась рыхлой, а за ночь покрывалась ледяной корой. Никита начинал зябнуть, после тепла в избе, и старался согреться, поскакивая с ноги на ногу. Дедушка ничего не замечал, ускоряя шаги. Он старался поскорее выбраться из деревни.

Они перешли по льду Нейву, прошли по улице, которая была за Нейвой и очутились за околицей. Старик

облегченно вздохнул. Все прошло благополучно. Не встретили ни одной души. Он особенно боялся переходить через реку, куда утром бабы ходили за водой. Перешла бы баба дорогу, и ворочайся домой; все равно, толку бы не было.

Лукич ждал их за околицей. Он тоже был с дровешками, на которых были привязаны железный лом, кайло (кирка) и железная лопатка. Дедушка Степан сделал вид, что удивился этой встрече.

— Ты это куда наклался, Лукич?

— А так... по разным делам, дедушка.

Лукич ласково потрепал Никиту по плечу и заметил:

— Ну, что, мальчуга, холодно? Ничего, согреемся...

Когда они тронулись в путь по узенькой дорожке, по которой зимой возили в Мурзинку сено и дрова, начало светать. В лесу было как-будто теплее, потому что не хватало ветром. Они прошли лес, ускоряя шаги. И Лукич, и дедушка Степан все оглядывались и прислушивались, как бы кто не догнал из Мурзинки. Когда под'ем в гору кончился, и дорога повернула вправо, под гору, Лукич остановился, что-то сообразил и сказал:

— Нам направо, дедко...

Они свернули и побрели прямо по снегу. Впереди шел Лукич, за ним дедушка Степан, позади всех Никита. На горе снег был не глубокий. Никита начал догадываться, куда они идут, но не спрашивал. Он теперь понимал, почему дедушка торопился и оглядывался всю дорогу.



— Здесь...—заметил Лукич, останавливаясь у большой снежной кучи.

Это было недалеко от лесистой вершины горы, в мелком сосновом леске. Лукич обошел лесную кучу, разрыл снег в двух местах лопатой и еще раз сказал:

— Здесь.

Он перекрестился и начал разгребать снег. Под верхним слоем оказалась настилка из хвороста. Когда Лукич разобрал ее, под настилкой открылась глубокая яма. Дедушка в это время успел развести огонек и сказал Никите:

— Ты пока погрейся около огонька... Замерз, поди?

— Нет, ничего. Только руки зябнут...

Лукич тем временем спустился в яму, цепляясь руками и ногами по выставившимся камням. Яма имела неправильную форму и походила на громадную щель. Вскоре Никита увидел слабый огонек, затеплившийся на самом дне ямы, это Лукич засветил захваченный с собой сальный огарок.

— Давай кайло!—крикнул он из ямы.

Дедушка осторожно спустил кайло и, присев на корточки, начал прислушиваться к глухим ударам. Затем он спустился туда сам...

#### IV.

С час работал Лукич в яме, а потом вылез оттуда и вынес «знаки», т.е. куски кварца с вкрапленными в них кристаллами горного хрусталя. Дедушка Степан

внимательно осмотрел их и только покачал головой. Знаки были плоховаты.

— Это ничего,—объяснил Лукич.—Это только сверху, а дальше лучше пойдет. Вот сам увидишь.

Лукич потом спустился вместе с дедушкой Степаном, и Никита долго слушал, как гудела мерзлая земля под ударами мерзлого лома и кайла. Ему надоело одному сидеть наверху, и он обрадовался, когда дедушка вылез из ямы и сказал:

— Ну, теперь твое счастье, Никита... Полезай к Лукичу в яму. Да вот возьми с собой мешок и веревку...

Никита начал спускаться, цепляясь за выступы камней. Лукич ждал его внизу и схватил за ноги, помогая спуститься с последнего выступа. Яма была глубиной сажен в шесть и шла вниз не прямо, а около выступов скрытой в земле скалы. На самом дне яма была шире. Сальный огарок едва освещал неправильно окопанные стены. Лукич работал в одной рубашке, и волосы от пота прилипли у него на лбу отдельными прядями.

— Тепло, брат, здесь.—объяснил он, ласково хлопнув Никиту по плечу.—Вот как согреешься.

Никита осматривался кругом и никак не мог понять, где тут могли быть самоцветы: с одной стороны—сплошной голый камень, а с другой—сплошная глина. Лукич понял этот немой вопрос, подвел его к боковой выработке и указал на белые камешки, кое-где блестевшие в глине.

— Видишь?—спрашивал Лукич.



— Вижу... Скварец <sup>1)</sup>),—тоном большого ответил мальчик.

— Вот это самое и есть.. Значит, это и есть самая жила. Самоцветы-то около кварца. А видишь, вон желтые камни, это полевой шпат. Для нас это самый приятный камень, еще лучше скварца. На скварце аматисты, а на шпате все другие самоцветы и тяжеловесы, и бериллы, и шерлы разные, и смоляки <sup>1)</sup>), одним словом, всякого сословия камень...

Добытая из боковой впадины земля была сложена в одну кучу, и Лукич заставил Никиту набивать этой землей мешок. Когда мешок был полон, сверху дедушка Степан спустил веревку и на ней вытащил мешок с землей.

— Ну, Никита, старайся...—проговорил Лукич, залезая на четвереньках с кайлом в боковую выбоину.

Поработав с час, мальчик тоже почувствовал себя так тепло, что должен был снять шубенку.

Время от времени Лукич присаживался на уступ камня отдохнуть, свертывал «цыгарку» из газетной бумаги и что-нибудь рассказывал.

— Над этой ямой, Никита, лет с тридцать, как бьются. Тут артелей до десятка поработали, и все напрасно. Так, знаки есть, поманивает как-будто, а настоящего ничего. Поработают и бросят... Сказывают, что зарок есть, а какой такой зарок, неизвестно.

---

<sup>1)</sup> Рабочие на Урале часто коверкают слова по-своему, особенно на промыслах, и говорят вместо кварц—скварец, вместо колчедан—колчеган и т. д.

<sup>2)</sup> Смолянки—дымчатый горный хрусталь.

— А кто же положил на яму зарок?

— Тоже неизвестно... А только это уж верно.

Потом Лукич сообщил целый ряд всевозможных примет, как ищут камни.

— Это ведь не дрова рубить,—камни-то искать,—объяснял он, попыхивая своей цыгаркой,—Самоцвет тоже к рукам. Надо его умеючи взять... да... А главное: нашел—молчи, потерял молчи. Совсем особенное дело.

Так они проработали вплоть до обеда. Никита страшно проголодался и все ждал, когда дедушка кликнет сверху. А Лукич все работал, не замечая времени.

— Лукич, я есть хочу...—признался, наконец, Никита.

— Ага, вот оно куда пошло!—удивился Лукич.—И то, братец ты мой, пора... Ну, пошабашим пока.

Они вылезли из ямы. Дедушка Степан сидел около огонька, над которым висел небольшой железный котелок с варевом. Из дому была захвачена крупа и картошка, и кушанье было готово. Никита с жадностью смотрел на котелок и думал, что он один с'ел бы таких три котелка.

— Эх, ежели бы толкнуть в похлебку две луковицы да маслица,—жалел Лукич, попробовав варево.

— Ничего, и так с'ешь, — ответил сердито дедушка.—Не с чего лакомиться-то!..

— Погоди, дедушка, не ворчи! Будет и на нашей улице праздник, дай срок.

Никита, кажется, еще никогда не ел такой вкусной похлебки. Лукич смотрел на него и ухмылялся. Ели все поровну, ложка за ложкой, при чем дедушка и Лукич



под конец начали брать понемногу, оставляя свою долю Никите.

— На вольном воздухе, оно вот как хорошо естся,— заметил Лукич, облизывая свою ложку, что означало, что он сыт,—себя бы, кажется, в другой раз с'ел...

После обеда Лукич закурил опять свою цыгарку, а потом вытащил из кармана добычу сегодняшнего дня. Никита удивился, когда он успел припрятать камни. Тут были и горные хрустали, и раух-топазы и два аметиста. Лукич разложил камни на поле кафтана и, прикинув в уме, об'явил:

— На цалковый-рупь заробили...

— Еще меньше,—сомневался дедушка Степан.

— Верно тебе говорю. Вот только приедут из города скупщики, сам увидишь.

Дедушка Степан только вздохнул. Когда еще скупщики приедут, да что еще дадут, на воде вилами писано. Дедушка, вообще, плохо доверял болтовне Лукича, а теперь в особенности: и язык без костей, и такие особенные люди есть, которые на словах, как гуси на воде.

После обеда немного отдохнули, а потом еще поработали часа два. День зимний короткий, и скоро начало уже темнеть. Дедушка Степан, для отвода глаз, нарубил в дровешки березовых длинных поленьев, и все отправились домой. В Мурзинке уже мигали огоньки, когда они по льду переходили Нейву. На этот раз им попалась навстречу какая-то баба, и Лукич сердито отплюнул в левую сторону.

Никак необразишь с этими бабами,—жаловался он.—Ну, што ей стоило пройти раньше нас, али попозже немножко. Ведь ей-то все равно... Баба она и есть баба.

Дедушка Степан послал Никиту домой одного и велел сказать, что сам ушел по делу к старосте. Никита боялся, что дома будут его расспрашивать, где они были с дедушкой, что делали и т. д. Но, к его удивлению, никто и ни о чем не спросил, точно так и все должно было быть. Только мать спросила, улынувшись:

— Что, проголодался, поди, с работы-то?

Никита хотел есть, но домашняя еда уже не была такой вкусной, как в лесу.

С этого дня началась работа в яме. Они уходили затемно, работали целый день и возвращались домой, когда начинало темнеть. В деревне уже знали, что они «ищутся», и посмеивались, как над новичками: «вот уж Четвериковы сразу разбогатеют», дедушка Степан на старости лет пошел чужого счастья искать», и т. д. Никто не удивлялся, что ищет самоцвет Лукич, этот уже совсем отпетый по части камней!..

## V.

Так они проработали целую неделю. Попрежнему все самоцветы, которые должны были обогатить компанию, оставались еще в земле. Попадалась разная мелочь, да и ту еще нужно было продать. Дедушка Степан не выражал ничем своего недовольства и только вздыхал. Лукич считал своим долгом оправдываться и



придумывал всевозможные причины, мешавшие успеху такого верного дела.

— Уж тут есть причина, меня тоже не надуешь!— уверял он дедушку Степана и даже лукаво подмигивал.— Не-ет, брат, шалишь... Лукича не проведешь. Куда им деваться, самоцветам?

— Известно, некуда,—соглашался дедушка Степан.—Сколько их есть в земле, все наши с тобой.

— Вот-вот, мы их достигнем... Сколько ни попрячутся, а будут наши. Верно говорю, дедко. Уж кажется, вот как стараюсь...

Около ямы вырос желтый холмик свежей земли, а внизу ямы Лукич заложил забой, т.-е боковую галерею или, на горно-заводском языке, штрек. Чтобы земля не обваливалась, сверху был устроен из деревянных плах потолок, подпертый деревянными стойками. «Жила» уклонилась в сторону, и Лукича огорчало, что она начала расщепляться, т.-е. разбилась на несколько меньших прожилков. Это был плохой знак.

— Самое приятное, когда жила раздуется пузырем,—объяснял Лукич.—Тут сейчас тебе и пойдут камни гнездами. Вот бы натакаться на такое гнездо, сразу бы все оправдали. В другой раз самоцветы точно в шапке лежат, ежели гнездо выпадет.

— Ну, вот мы шапкой и загребем все,—подшучивал дедушка Степан.—На что лучше...

Иногда на Лукича нападало молчаливое отчаяние. Он вылезал из ямы, бросал свою шапку на снег, садился к огню и курил одну цыгарку за другой до одурения. В таких случаях дедушка Степан начинал его уговари-

вать: что же, и у других не слаще; вон, Парфеновы третью неделю бьются над своей ямой; у Седельниковых всю работу водой затопило, да мало ли наберется «ничемной работы».

— Тоже, для нас не наложено по ямам самоцветов-то,—рассуждал дедушка Степан.—Нашёл—твое счастье, не нашел—не взыщи... Такое уж земляное положение. Кому уж счастье Господь пошлет.

Малодушие Лукича, впрочем, быстро проходило, и он начинал по пальцам перечислять всех, у кого была удача. Нынче вон как южаковским мужикам повезло, зашибут копеечку, когда наедут скупщики; в Алабашке тоже аметистами хвалятся, да мало ли наберется народа, если приняться считать!.. Успокоившись, Лукич с новой энергией принимался за работу. В веселую минуту он затягивал даже песню, хотя дедушка Степан и оговаривал его.

— Чему обрадовался-то? Ты поешь, а бес радуется. Не таковское наше дело...

— Ну, не буду,—соглашался Лукич.—Это ты правильно, дедко; оно, конечно, дело особенное... Камень тоже не любит, ежели кричать: нашел—молчи, потерял—молчи.

Счастье подвернулось именно тогда, когда его совсем не ожидали. Еще утром Лукич клялся и божился, что бросит проклятую яму, и что у него уже есть другая яма на примете, где самоцветов «хоть отбавляй». Он относился к яме, как к живому человеку, и даже грозил ей кулаком.

— Ну, и оставайся тут, а мы найдем другую,—раз-



говаривал Лукич, обращаясь к несчастной яме.—Сделай милость, найдем получше тебя...

Именно в этот день и «натакались» на первое гнездо аметистов. Дедушка Степан был наверху, а в яме работали Лукич с Никитой. Лукич с каким-то ожесточением долбил землю кайлом и, покряхтывая при каждом ударе, приговаривал:

— А вот тебе еще раз!.. А вот тебе еще два!..

Вдруг удары смолкли, и Лукич точно замер. Никита оглянулся и увидел, как Лукич присел на корточки и что-то выцарапывал из земли прямо руками и торпливо прятал за пазуху. Когда Никита подошел к нему, Лукич даже зашипел на него:

— Шшш!..

Но мальчик уже видел, как Лукич обтирал блестящие камешки из разбитой кайлом «щетки». Щеткой называется сросшаяся масса кристаллов, по минералогии—друза.

— Ишь ты, как угораздило!—ворчал Лукич, осторожно выеорачивая из глины остатки щетки.—Ежели бы цельную добыть, куда лучше. Ах ты, грех какой вышел...

Никита сообразил, что Лукич прячет найденные камни и кликнул дедушку Степана. Старик с такой быстротой спустился на дно ямы, точно его кто бросил сверху.

— Где камни?—задыхаясь, спрашивал он.

— Какие тут камни,—сердито отозвался Лукич.— Вот щетку разбил... Ах, ты, грех какой! Угораздило же хватить кайлом прямо по щетке.

Дедушка тоже бросился к тому месту, откуда было вынуто гнездо, и принялся разбирать землю прямо руками, но больше ничего не оказалось. Потом он сердито обратился к Лукичу:

— Ты это что же? Подавай камни...

— Какие камни?—удивился Лукич.

— А вот такие...

— Дедушка, он за пазуху прятал их и в карман,—объяснял Никита, тоже начиная волноваться.—Я сам видел...

— Врешь ты все!—обругал его Лукич.

— Нет, постой!.. кричал дедушка Степан, хватая Лукича за руки.—Погоди... Тоже не полагается надувать добрых людей. Вишь, что придумал... Никита, вынимай у него все из-за пазухи.

— Да ну вас, сам отдам,—заговорил Лукич.—Вот тоже навязались, подумаешь. Не видал я, что ли, камней?

— Нет, ты не вилай!—не унимался дедушка.

— Ладно... Полезем наверх, там и покажу. Отпусти руки-то, говорят...

— То-то, смотри у меня,—проговорил дедушка Степан.—Я ведь шутить не люблю...

Когда поднимались из ямы, дедушка Степан не спускал глаз с Лукича и все повторял:

— Ах, лукавец, лукавец, лукавец! Да не лукавец ли?.. Есть у тебя стыд-то, Лукич?

Лукич угрюмо молчал, а когда поднялись наверх, он сердито начал выгружать камни из-за пазухи и из кар-



манов. Дедушка следил за каждым его движением и считал каждый камень.

— Ну, теперь все,—проговорил Лукич, поднимая руки кверху.

— Нет, постой, лукавец, я тебя обыщу,—не верил дедушка, ощупывая его:—в глазах надуешь.

Всех камней по первому счету дедушки было тринадцать, а когда стали их пересчитывать, оказалось всего двенадцать: в то время, когда старик делал обыск, Лукич успел незаметно сдвинуть один камень ногой в снег и наступил на него. Дедушка Степан пересчитывал камни раз десять, а все-таки одного камня не хватало.

— Ты его во сне видел,—ругался Лукич.—Что я, в самом деле, вор какой?

— Ладно, зубы не заговаривай.

Лукич хотел сейчас же разделить камни, но дедушка не согласился.

— Надуешь, лукавец,—объяснил он.—Да я и толку в них не знаю, ты мне подсунешь, которые похуже. Вот ужо приедут скупщики, тогда всем гнездом и продадим, а деньги-то уж разделим правильно.

Всю дорогу домой они опять ссорились: Лукич хотел оставить камни у себя, а дедушка Степан не соглашался.

— Нет, пусть лучше они полежат у меня,—сказал старик.—Дело-то повернее будет.

— Нет, у меня вернее,—кричал Лукич.

— Обманешь, лукавец.

Когда пришли домой, то почти совсем рассорились;

Лукич кричал, ругался и размахивал руками. Помирила их неожиданно баушка Антиповна.

— Отдайте мне камни-то,—говорила она.—Уж я-то лучше вас обоих ухраню их.

Это предложение обескуражило Лукича. Он долго чесал в затылке, переминался с ноги на ногу, а потом, махнув рукой, проговорил:

— Ну, ин будь по-твоему, баушка... Смотри, только, не потеряй.

— Да где мне их терять-то? Тоже и скажет...

Камни еще раз были пересчитаны, крепко завязаны в тряпицу и переданы баушке.

— Рублев на тридцать, пожалуй, будет...—соображал Лукич, продолжая чесать в затылке.—В самый раз—тридцать, уж я знаю!..

## VI.

Коварство Лукича взволновало весь дом. Когда он ушел, и дедушка рассказал все, как было, все пришли в ужас, особенно баушка Антиповна. В самом деле, не подвернись Никита, Лукич так бы и затаил все камни до последнего.

— Вот бы тебе и тридцать рубликов,—ужасалась старушка, качая головой.—Сколько это будет, ежели пополам разделить?

— Да видно, все пятнадцать рублей...

— Пятнадцать?!..

Это были такие громадные деньги, что у старушки не находилось таких слов, какими она могла бы выра-



зить в полной мере все свое негодование. В Мурзинке, как и во всякой другой деревне, деньги ценились необыкновенно высоко. В переводе пятнадцать рублей означало и целый воз хлеба, и хорошую корову, и целую лошадь, а Лукич хотел захватить такое сокровище. Весной деньги делались особенно дороги, когда все запасы приходили к концу, и приходилось покупать то овса, то хлеба, как в нынешний неурожайный год.

— Ох, смотрите вы за ним, в оба глаза смотрите!—наказывала баушка Антиповна.—Никита, ты глаз с него не спускай... А чуть што, сейчас кричи караул.

— Ну, уж и караул,—смеялся дедушка.—Не разбойники на большой дороге собрались, чтобы кричать караул-то. Так он, Лукич, не от ума сплутовать маленько хотел.

Слух о найденных Лукичом самоцветах на Тальяне облетел всю Мурзинку на другой же день, чему виной был сам Лукич, не утерпевший, чтобы не похвастать. Прямо он не сказал, на сколько добыто камней, и молва сама оценила находку сначала в сто рублей, потом в двести, в триста, пока не дошла до целой тысячи. Это повторялось каждый раз, когда кто-нибудь находил новую жилу. Дедушка Степан сильно рассердился на болтливового Лукича.

— Тебя ведь за язык никто не тянул?—корил он смущенного Лукича.—Бегаешь по всему селу и хвастаешь... Эх, ты, худое решето!..

Одними разговорами дело не ограничилось. На другой же день, когда дедушка Степан с Лукичом вышли на работу, к яме собрались мало-по-малу любопытные.

Они стояли около ямы и смотрели, как дедушка Степан вытаскивал в мешке землю, делали свои замечания и подшучивали, что еще сильнее сердило старика.

— Шли бы вы домой,—советовал им дедушка Степан, не любивший бездельников.—Что даром-то стоите?

— На тебя хотим посмотреть, дедко... Строг ты у нас стал.

— Ступайте, ступайте... Нечего вам тут делать.

— Ишь разбогател, и приступу к тебе нет. А ты не гордись, дедко...

Когда спустились в яму, Лукич принялся за работу с особенным ожесточением, так что Никита едва успевал набивать вырытой землей свой мешок. Лукич все время молчал и обиженно оглядывался на своего маленького помощника, который следил за ним.

«Ишь, змееныш, как караулит!—возмущался Лукич про себя.—Научила, видно, баушка Антиповна. Ну, и канпания, нечего сказать... Влопался я, одним словом, как кур во щи».

Потом он не утерпел, и сам заговорил с Никитой:

— Ты это что на меня смотришь-то? Ведь на мне узоров не нарисовано...

— Очень мне нужно на тебя смотреть,—ответил Никита, стараясь придать голосу грубый тон.

— Ладно, сказывай. А ты получше смотри, а то как раз камень у самого себя украду. А знаешь, что я тебе скажу, Никита?

— Ну?

— Ты—глуп. Да... Ежели бы ты молчал вчера, когда я нашел щетку, ну, я бы тебе потом и пряников, и кон-



фетов, и орехов надарил. А теперь уж не взыщи... От дедушки-то ничего не получишь. Вот и вышел ты совсем даже глупый человек...

— А я вот скажу дедушке, чему ты меня учишь, так он тебе еще в затылок наладит...

Лукич только плюнул:—«как есть совсем глупый мальчишка, а к чужой коже своего ума не пришьешь; своей пользы не хочет понимать».

Дедушка Степан несколько раз спускался в яму, чтобы посмотреть на работу Лукича. Хитер лукавец и как раз обманет мальчишку. Но обманывать было не в чем. Камней больше не попадалось, как Лукич ни старался. Дедушка Степан только качал головой. Опять кругом Лукич виноват:—наболтал, не знаю что, народ сбежался, все смотрят, какие же здесь могут быть самоцветы? Вот камни и спрятались...

— Напугал ты камни-то,—корил дедушка Степан, качая головой.—Вот теперь и копай пустую землю...

— Ладно, без тебя знаем... Сами с усами. Да...

Дедушка Степан и Лукич опять чуть не рассорились. Лукич, когда сердился, смешно плевал в сторону, точно ему попала в рот муха.

На следующий день они проработали совершенно даром, что повергло Лукича в молчаливое отчаяние. Он всю ночь высчитывал все барыши, какие получают в одну неделю. Расчет был самый верный: каждый день считайте тридцать рублей, на худой конец, а в шесть дней это и выйдет сто восемьдесят рублей; разделить пополам все-таки девяносто рублей! Да еще можно утаить рублишек на десять, вот и все сто. Для Лукича это была

такая сумма, о какой он и не смел мечтать. И вдруг все мечты разлетаются прахом, как сон... Больше ничего не оставалось, как почесывать в затылке и браниться в пространство. А тут еще ворчанье дедушки Степана и другие неприятности.

— Не огорчай ты меня, дедко,—взмолился Лукич.— Поманило, видно, нас самоцветами, а настоящего-то ничего и нет.

Следующие дни не были счастливые, несмотря на самые отчаянные усилия Лукича и дедушки Степана, работавших теперь в забое попеременно. Попадались раза три отдельные камни, но это все были пустяки, а не настоящее дело. Счастливая находка, кажется, имела гораздо более значения для других. Все так и бросились на гору Тальян. Копали новые ямы, пробовали счастья по новым ямам, вообще, работы закипели. К огорчению Лукича, другие оказались счастливее. То и дело слышались рассказы, что кто-нибудь нашел гнездо аметистов, а некоторые счастливы находили тяжеловесы и бериллы. Слухи об этих находках быстро распространились по соседним деревням, и в Мурзинку приезжали свои деревенские скупщики, которые потом перепродавали камни в Екатеринбурге.

— Ну, нет, этим мы ничего не будем продавать,—решил Лукич.—Они покупают за четверть цены у своих мужиков, а мы подождем настоящих, городских покупателей. Ужо вот налетят, как орлы...

Скупщики не дожидались, когда принесут им камни на квартиру, а ходили по ямам, где шла работа, и скупали у неопытных людей за бесценок, что могли. Завер-



тивали они и на яму, где работали Лукич с дедушкой Степаном.

— Нет, уж вы того, братцы!—советовал им Лукич,—обманывайте других,—кто попроще, а мы и сами с усами.

— Ишь, как расширился! — смеялись разбитные скупщики:—пожалуй и не возьмешь тебя голой рукой.

Тут случилось нечто совершенно неожиданное, т.-е. неожиданное для Никиты. Раз он накладывал, по обыкновению, землю в мешок, и вдруг в земле мелькнуло что-то светлое. Он незаметно схватил камень и спрятал за пазуху, как это сделал Лукич. Он так и проходил с ним целый день и только вечером успел рассмотреть, что камень попался хотя и не большой, но хороший, густой воды. Это был один из тем аметистов, которыми когда-то славилась Мурзинка. Собственно, камень спрятал Никита совершенно инстинктивно, как это делал Лукич. В нем проснулась неиспытанная еще жажда наживы. Сначала он хотел его скрыть от Лукича, а потом, когда пришли домой, скрыл и от дедушки. Никите было и совестно, и страшно, и в то же время жаль хорошего камня. Он перепрятал его в десяти местах и все боялся, что кто-нибудь вдруг найдет.

— Ты это что, Никита,—спросила мать,—на себя точно не походишь? Голова, может, болит?

— Нет, я так...

## VII.

Утаенный от больших самоцвет положительно не давал Никите покоя. Он видел его даже во сне, при чем рисовались самые ужасные картины, вроде того, что камень украли, или что приехал отец с завода, посмо-

трел на него и сказал:—«А, это ты украл камень?!» Но чаще всего Никита видел во сне баушку Антиповну, которая все подкрадывалась к его камню, то в виде кошки, то просто в виде громадной лапы, покрытой густыми рыжими волосами. Со страха Никита вскрикивал и просыпался. А тут еще мать пристает:

— Кто-то сглазил у нас парнишку из-за ваших самоцветов! По ночам стал кричать и на себя не походит!

По воскресеньям они не работали, и Никита проводил почти целый день на своей деревенской улице, вместе с другими ребятами. Конечно, ребята говорили между собой о том же, что сейчас занимало и больших: о работе по ямам, о разных счастливых находках, о приезде ожидаемых из города скупщиков. Потихоньку от больших ребята готовили свой товар, т.-е. разыскивали по старым и новым отвалам разную мелочь, которую больше выбрасывали, как несостоящую внимания.

— Ужо продавать будем,—толковали между собою ребята, припоминая разные случаи удачного торга.— Вон в прошлом году Илюшка продал струганцев рубля на два... Федька—на восемь гривен... А нынче вон у Гришки косога есть какой-то хороший струганец, да только не показывает никому.

— Что ему показывать-то,—защищал кто-то Гришку.—Он в третьем годе вот так-то показал два аметиста, а мать у него и отняла. Потом, сказывают, сама потихоньку продала их кому-то в Южакову.

Никита слушал эти ребячьи разговоры и выпытывал потихоньку, как продают камни скупщикам.



— Приходи к нему и покажи камень,—вот и всего,—объясняли опытные ребята.—Ну, он посмотрит и спросит цену, а ты запрашивай с него вдвое.

— А он возьмет камень-то да и не отдаст его назад и денег не заплатит.

— Ну, этого нельзя... Конечно, плуты они, городские, обманывают, кто проще, а так, силом, тоже нельзя. За это судить судом будут...

Ребята толковали, как большие. Работа по ямам их портила, потому что они кругом только и слышали о разных плутнях и ловких обманах. Да и получить какой-нибудь двугривенный великий соблазн. У Никиты, например, никогда не было в руках своего пятака, и для него двугривенный являлся сказочным богатством. Его расспросы о том, как продавать самоцветы, обратили острое ребячье внимание, и кто-то заметил ему:

— Да ты это что, Никитко, испытываешь-то? Видно, прикарманил у дедушки какой-нибудь самоцвет?

Никита начинал отпираться и даже божился, что у него ничего нет, и что все самоцветы спрятаны у бабушки. Но ребята, умудренные собственным опытом, не верили ему и подняли на смех.

— Вот уж узнает дедушка-то, так он тебе покажет, как самоцветы воровать. Как-то отец вот так же поймал Сидорку, так он ему задал и жару, и пару.

Никита начал еще больше трусить. Кончилось тем, что он закопал свой камень в снегу, за баней, и даже боялся хорошенько рассмотреть его. А ребята, между тем, болтали, и их болтовня доходила до больших. Раз, когда дедушка Степан вышел с Никитой на работу, Лу-

кич встретил их с каким-то особенно мрачным видом. Когда они подходили к самой яме, Лукич заговорил с каким-то особенным ожесточением:

— Дд-а... Отчего да отчего не стало у нас самоцветов— хха! Бьемся, бьемся, роем землю, а может, самоцветы-то какой-нибудь другой человек подбирает. Мы-то работаем, а другой человек их подбирает.

— Какой другой человек?—не мог понять дедушка.—Окромя нас никого нет...

— Вот то-то и оно-то! Мы-то с тобой просты, а вся деревня знает... да...

Никита сразу понял, о ком шла речь, и был ни жив, ни мертв. Лукич не смотрел на него и продолжал говорить о «другом человеке» с возрастающим ожесточением.

— Да его убить мало!—уже кричал он.—Я бы его в мелкие клочки разорвал, как кошку.

— Да ты говори прямо! Что понапрасну-то языком молоть.

— А вот он!..—указал Лукич на Никиту.—Вся Мурзинка знает, как он камни у нас ворует. Да...

— Ну, уж ты это врешь!—заступился дедушка Степан и тоже вдруг рассердился.—Мало ли ребята болтают.

— Болтают? А вот разложить его да хорошенько выдрать, так тогда и сам все скажет... да! Ты напрасно его покрываешь. От домашнего вора не убережешься...

— Ладно, языком болтай, а рукам волю не давай...

Никита расплакался и начал уверять, что ничего не знает. Лукич долго не мог успокоиться и, работая в



яме, все еще продолжал ругаться. Как на грех, опять попало небольшое гнездо, и Лукич торжественно заявил дедушке Степану:

— Вот видишь: как только припугнули вора, так и самоцветы об'явились.

Тут уж дедушка Степан не выдержал и накинулся на Лукича:

— Да ты никак совсем рехнулся?! Как же он мог у тебя-то из рук-то украсть? Ведь ты землю копаешь и первый увидишь самоцветы... Ну, раскинь умом-то?

— От вора не убережешься...

— Перестань молоть, говорят тебе!—Только напрасно мальчонку до слез доводишь да вором величаешь...

Лукич больше не ругался, а только ворчал что-то себе под нос и отплевывался. Камней было добыто рублей на десять, но и та удача не радовала его. Всю обратную дорогу Лукич молчал, как кровно обиженный человек. Никита тоже чувствовал себя скверно. Положим, дедушка Степан заступился за него, но он видел по его лицу, что старик сердится. Найденные камни были отданы опять на хранение баушке Антиповне, при чем Лукич начал опять жаловаться на Никиту. К удивлению последнего, теперь и дедушка присоединился к Лукичу и, схватив Никиту за ухо, строго допытывался.

— А может, ты, и в самом деле, украл? Ну, говори... Ну, говори... Не все же зря ребята болтают.

— Чего с ним разговаривать попусту,—обрадовался Лукич.—Вот ужо принесу хорошую розгу, тогда и будет у нас настоящий разговор.

— А што, ежели и в самом деле тебя, Никита, отодрать,—согласился дедушка Степан,—чтобы и другим было не повадно?..

— После, дедко, он сам тебе скажет спасибо за науку,—поддразнивал Лукич.—Как же ребят не драть? Совсем глупые будут...

Никита страшно перепугался и бросился к баушке Антиповне на печку с отчаянным ревом.

— Да вы это што к робенку пристали?!—заступилась старушка за внука.—Это все твои выдумки, Лукич... ты бы вот лучше за собой-то смотрел. Тогда Никита тебя поймал, как ты аматисты за пазуху прятал,—вот ты и озлобился на него. А я вот слезу с печи, возьму ухват... И у тебя, Степан, ума не стало. Кому верить-то? Тоже придумали...

Заступничество баушки спасло Никиту, и Лукич ушел ни с чем. Дедушка Степан поворчал, а потом проговорил:

— Плут этот самый Лукич... Это он точно на Никиту сердится, а я за правду принял. Одним словом, лукавец...

Если бы не баушка Антиповна, Никите пришлось бы плохо. Мальчик долго не мог успоиться и не слезал с печи. С другой стороны, ему сделалось ужасно совестно, что он всех обманывает. Если бы Никита сейчас не боялся дедушки, то принес бы камень и отдал его. Страх заставлял его скрывать свой проступок, и он плакал уже от сознания, что поступал нехорошо, и что баушка заступается за него напрасно. Это был пер-



вый детский стыд, проходивший по детской душе, как весенняя гроза.

## VIII.

Наконец, давно ожидаемые городские скупщики приехали. Они редко приезжали отдельно, потому что сторожили друг друга, как бы кто вперед не захватил самый лучший товар. Они и останавливались все вместе, в последние годы у Лукича. Это делалось с той целью, чтобы было удобнее следить друг за другом и не набивать цены. В случае, если попадался дорогой камень, они не отбивали его друг у друга, а только купивший потом должен был заплатить отступное. Одним словом, скупщики вели себя как все скупщики, и мурзинцы это отлично знали и с своей стороны поднимались на хитрости. А хитростей было достаточно: если в камне была трещина, его смазывали маслом, некоторые камни отжигали в печи, завернув в тесто, даже склеивали целые щетки и т. д.

Работа на Тальяне была оставлена, и Лукич теперь всецело был поглощен хлопотами по торговле, при чем старался угодить и своим мурзинцам, и скупщикам. И те, и другие подозревали Лукича в коварстве, и он божился до хрипоты, колотил себя в грудь кулаками и походил на сумасшедшего.

Нынче приехали трое: старичок Иван Васильевич, ездивший в Мурзинку лет тридцать, такой седенький, ласковый, вечно вздыхавший и творивший про себя молитву; он знал почти всех в лицо, и приезжал в Мурзинку, как домой; два других были молодые, вертлявые

и плутоватые, не внушавшие к себе доверия; одного звали Борисовым, а другого—Смолкой,—это было его рыночное прозвище. Скупщики, конечно, уже слышали, что на Тальянке найдено много камней, но делали вид, что ничего не знают, и удивились, когда Лукич по секрету об'явил им об этом, при чем о себе он, конечно, не упомянул.

— А мы ехать-то не хотели,—ответил Иван Васильевич, делая благочестивое лицо.—Прежде в Мурзинке бывали камни, а в последние года что-то плохо, да и мужики испортились:—ломают такие цены, о коих никто и не слыхивал. Ну, а все-таки едешь, по старой памяти, в Мурзинку, хотя и знаешь, что не зачем.

Приехав в Мурзинку, скупщики держали себя крайне солидно, как настоящие господа; сидят в избе Лукича, пьют чай и ждут продавцов,—не итти же самим по избам за товаром. Мурзинцы первое время тоже не шли, чтобы не продешевить. Разыгрывалась настоящая комедия. Дело начинали обыкновенно ребята, тащившие свои струганцы без всякой хитрости.

— Ну, ну, показывай весь магазин,—шутил обыкновенно Иван Васильевич, трепля по голове какого-нибудь мальчика пошустрее.—Э, брат, да у тебя столько товару, что у нас у всех троих денег не хватит...

Начинался самый отчаянный торг, заканчивавшийся, в лучшем случае, тривенником или пятиалтынным, а большинство довольствовалось пятачком или еще более скромной суммой. Но и две копейки—деньги, и продавцы были счастливы. Так обыкновенно начинался базар, и только потом подходили большие.



Нынче Лукич особенно старался, и просто лез из кожи, зазывая продавцов. Дедушке Степану он сказал еще раньше:

— А ты не торопись, дедко. Наше не уйдет... Пусть сперва другие расторгуются.

Маленький Никита и раньше видал, как торгуют камнями, а нынче не отходил от избы Лукича, особенно, когда его не было. Ему хотелось узнать, сколько дают скупщики за такие камни, какой был у него. Дело происходило так.

Заходит мужик в избу, молится в передний угол и останавливается у порога.

— Здравствуйте...

— Здравствуйте, дядя. Товар принес? Ну, показывай...

Мужичок несколько времени смущенно переминается с ноги на ногу, а потом уже достает завернутый в тряпку товар. Струганцы раскладываются на столе, скупщики рассматривают их и начинают «хаять». Вот этот аметист совсем бы ничего, да только краски сбежались по одному боку; раух-топазы оказываются слишком темными; тяжеловесы—не «настоящей воды» и т. д. Продавец, конечно, хвалит свой товар, обижается и кончает тем, что уходит.

— Ничего, придет,—смеется Иван Васильевич, поглаживая свою седую бородку.—На сердитых воду возьят...

С другими другая политика. Иван Васильевич вдруг начинает сердиться, вытаскивает из своего чемодана

купленные где-нибудь в другом месте камни и начинает их расхваливать, уменьшая цену вдвое.

— Вот это камни!—кричит он тонким голосом.—А твои что?—и половины не стоят... А то сделает так: бери любую половину. Только жалеючи тебя, даю... Даром проедаемся в вашей Мурзинке.

О находке Лукича Иван Васильевич, конечно, знал, но не подавал вида и очень удивился, когда пришел дедушка Степан.

— Что-то я тебя как-будто и не знаю, дедко,—заговаривал Иван Васильевич.—Ну садись, гость будешь...

Дедушка Степан немного стеснялся с непривычки и как-то виновато пробормотал:

— На старости лет вот с внучком побаловался малость. Только я ничего не понимаю, что и чего стоит, так вы уж того, милостивцы, не обижайте старика...

Никита, конечно, воспользовался случаем и пришел вместе с дедушкой. Он делался с каждым днем смелее и сейчас даже не удивлялся, что дедушка говорит неправду: еще вчера приходил к ним Лукич, оценил каждый камень и научил подробно, как надо торговаться с городскими плутоватыми скупщиками.

— Да, ничего, правильные камни,—похвалил Иван Васильевич, рассматривая аметисты.—Товар хороший, говорю. А как цена?

Начался торг, при чем дедушка Степан оказался таким неподатливым, что Иван Васильевич спорил с ним до хрипоты.

— Ну и старик!—возмутился он.—Ты ему дело говоришь, а он точно на пень наехал...





Спорили долго, пока не порешили на цене, назначенной Лукичом. Дедушка Степан не сбавил ни копейки. Никита решил, что меньше трех рублей своего камня не продаст, и немного смущался, когда Иван Васильевич так пытливо посматривал на него своими ласковыми глазами. Когда кончился торг, и дедушка получил деньги, Иван Васильевич подозвал Никиту и, давая ему пятак, проговорил:

— Ну, а это тебе, мальчуга. Добрый я человек, вот главная причина...

Когда дедушка выходил в дверь, скупщик шепнул Никите:

— Ужо приходи вечерком, как стемнеет. Лукича ушло... Понимаешь?..

Никита просто остоленел от удивления, как Иван Васильевич мог знать, что у него припрятан камень, точно этот ласковый старичок видел его насквозь.

Когда стемнелось, Никита прибежал в избу Лукича. Действительно, Иван Васильевич был один и, погладив его по голове, ласково проговорил:

— Ну, показывай свой магазин...

Оглядевшись, Никита разжал кулак, в котором принес свой самоцвет. Иван Васильевич внимательно его осмотрел, покачал головой; потом спрятал камень в жилетный карман и проговорил:

— Вот что я тебе скажу, малец... Да, скажу. Ступай-ка по добру, по здорову домой. Понимаешь?

— А деньги?

— Какие деньги?

— Такие... за самоцвет?..



Иван Васильевич взял его за ухо и, подведя к порогу, проговорил:

— Благодарю Бога, что я дедушке ничего не скажу. Ступай...

У Никиты все точно завертелось в голове. А главное, ему сделалось ужасно стыдно... Он плелся домой, глотая слезы. Дома сидели Лукич и дедушка Степан и никак не могли разделить полученные деньги. Никита постарался пробраться незаметно, чтобы не видел Лукич.

Делились долго, спорили, ссорились и не заметили, как в избу вошел Иван. Он постоял у дверей, послушал и сказал:

— Будет вам... Лукич, ступай-ка домой. Не люблю я ваших пустяков. Да...

Никита понял все, чего не смел договорить отец.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

*Стр.*

Старый воробей . . . . .	3
Приемыш . . . . .	17
Серая шейка . . . . .	31
Упрямый козел . . . . .	45
Медведко . . . . .	68
Емеля охотник . . . . .	76
Дурной товарищ . . . . .	88
В ученьи . . . . .	97
Зимовье на Студеной . . . . .	130
Богач и Еремка . . . . .	152
Он . . . . .	174
Кормилец . . . . .	183
Дорогой камень . . . . .	204





Кузьмин.	Замухрышка.
Крылов.	Слон и моська.
Киплинг.	Джунгли.
"	Смелые мореплаватели.
Кроткий.	Шиворот на выворот. Веселые стихи про Ввлины грехи.
Лондон.	Киш и др. рассказы для юных читателей.
"	Дикая сила.
"	Путешествие на „Ослепительном“.
Манассеина.	Своей тропинкой. Рассказы.
Мамин-Сибиряк.	Рассказы для детей. Сборн. I и II.
Насимович.	Малыши. Сборн. рассказов и стихов, ч I, II и III.
"	Заплети, плетень. Сказки.
Некрасов.	Избранные произведения; под ред. Н. Ашукина.
Плещеев.	Избранные стихотворения; под ред. П. Зайцева.
Русские песни.	Вып. I и II, под ред. Шнейдера.
Русские сказки	под ред. Ю. Соколова. Вып. I, II и III.
"	Коза.
"	Лутошенька.
"	Морозко.
"	Трень-брень.
"	Никита-Кожемяка.
"	Хорошо да худо.
Рагоза.	Похождение Чернушки.
Семенов.	Машка-Домашка.
"	Из жизни Макарки.
"	В деревне.
Серафимович.	Рассказы.
"	" Сборн. III. По земле.
Сурожский.	Ветка полыни.
Сент-Иллер.	Сказка про сову.
Толстой.	Три медведя и золотая головка.
Твен.	Приключения Тома.
Томпсон-Сетон.	Жизнь серого медведя.
"	Лобо, рваное ушко.
Черный Саша.	Живая азбука.
Шмелев.	На морском берегу.
"	В новую жизнь.
"	Рваный барин.
"	Они и мы.

## Торговый Сектор Государственного Издательства:

Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявленского пер., № 4.  
Телефоны 1-57-57, 47-35.

## Розничная продажа:

1) Советская площадь, под гостиницей «Древден»; 2) Моховая, 17;  
3) Б. Никитская, 13 (здание Консерватории); 4) Никольская, 3.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**Главное Управление Москва 1923**